

Дорога перемен

Автор:

Ричард Йейтс

Дорога перемен

Ричард Йейтс

Азбука-бестселлер

Это история Фрэнка и Эйприл Уилер – умной, красивой и талантливой супружеской пары, изнывающей от банальности пригородного быта. Фрэнк работает клерком в крупной нью-йоркской фирме, Эйприл дома воспитывает детей и мечтает об актерской карьере, но они стремятся к чему-то большему, чему-то исключительному. И вот им предоставляется уникальный шанс – уехать в Париж, начать все с чистого листа...

Как только «Дорога перемен» увидела свет, роман сразу был провозглашен «литературным шедевром» (Теннесси Уильямс) и «„Великим Гэтсби“ для новых времен» (Курт Воннегут).

Книга вошла в шорт-лист главной литературной награды США – Национальной книжной премии и послужила основой для крупнобюджетной драмы Сэма Мендеса с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях (впервые вместе после «Титаника»!).

Ричард Йейтс

Дорога перемен

Richard Yates

REVOLUTIONARY ROAD

Серия «Азбука-бестселлер»

Copyright © 1961, 1989, Richard Yates

All rights reserved

© А. Сафронов, перевод, примечания, 2008

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА

* * *

«Великий Гэтсби» для новых времен... Одна из лучших книг во всем моем поколении.

Курт Воннегут

Лучший роман из прочтенных мной в этом году – и с огромным отрывом.

Ник Хорнби

Искусный, ироничный, великолепный роман, заслуживающий того, чтобы стать классикой.

Уильям Стайрон

Тут не просто хороший слог. Здесь то, что вдобавок к хорошему слогу тотчас делает книгу изумительно живой. Не знаю, что еще нужно для создания шедевра современной американской беллетристики.

Тенниси Уильямс

Один из важнейших авторов второй половины века... Для меня и многих писателей моего поколения проза Йейтса была как глоток свежего воздуха.

Роберт Стоун

Великолепное произведение... Значительная и волнующая книга.

New York Times

В каждой фразе высочайшее мастерство стилиста. «Дорога перемен» свежим критическим взглядом озирает недостатки современного общества: крах в работе, образовании, общении, семье, супружестве... и просто нехватку духовных сил.

New Republic

«Дорога перемен» – удивительный пример того, как, рассказав бытовую историю, почти не уделяя внимания предметным деталям, не погружаясь в философствования и практически не занимаясь препарированием психики своих героев, автор создает картину времени, работающую лучше любых

документальных фильмов, и картину души, и сегодня ни на грамм не потерявшую актуальность.

Коммерсант

Ричард Йейтс – писатель внушительного таланта. В его изысканной и чуткой прозе искусно соблюден баланс иронии и страстности. Свежесть языка, резкое проникновение в суть явлений, точная передача чувств и саркастический взгляд на события доставляют наслаждение.

Saturday Review

Удивительный писатель с безжалостно острым взглядом. Подобно Апдайку, но мягче, тоньше, без нарочитой пикантности, Йейтс возделывает ниву честного, трогательного американского реализма.

Time Out

Тонкий, обманчиво прозрачный стилист, Йейтс убийственно точен в диалогах: его герои встают со страниц как живые.

The Boston Globe

Ричард Йейтс, Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй – три несомненно лучших американских автора XX века. Йейтс достоин высочайшего комплимента: он пишет, как сценарист, – хочет, чтобы вы увидели все, что он описывает.

Дэвид Хэйр

Йейтс – это в каком-то смысле американский аналог Фердинанда Селина, разве что не такой брюзга. <...> Стандартные драматические коллизии не привлекают

Йейтса, главная трагедия для него таится не в том, что с человеком происходит, но в том, что с ним никак не может случиться.

OpenSpace.ru (<http://openspace.ru/>)

Этот бородатый человек с нездоровым лицом всю жизнь писал одну книгу – о том, что людям сложно ужиться друг с другом, а еще сложнее – с самими собой. Ему, наверное, и в голову не приходило, что когда-нибудь его романы будут издавать в России. На родине Чехова, на которого книги Йейтса, откровенно говоря, очень похожи.

FashionTime.ru (<http://fashiontime.ru/>)

Трагическая история о катастрофе семейного счастья оборачивается в «Дороге перемен» очень точным и очень злым трагикомическим фарсом – Йейтс будто рентгеном высвечивает в своих персонажах все то меленькое, мелочное и жуткенькое, что люди обычно предпочитают скрывать от окружающих. И получается, что именно эти недоговорки, недопонимания, крошечные невроты и идиотские заблуждения, вроде бы не сильно страшные сами по себе, в конечном итоге и накапливаются в снежный ком настоящей нешуточной трагедии.

NewsLab.ru (<http://newsLab.ru/>)

Романы Йейтса называют хроникой «века беспокойства», беспощадным приговором тому времени, когда, как считал Йейтс, Америка упустила шанс на подлинную свободу, прельстившись мнимым потребительским счастьем. Десятилетия спустя его книги совершенно не устарели, наоборот: потеряв историческую актуальность, жизненная трагедия его героев стала еще болезненнее и острее.

Коммерсант

Йейтс пишет о хитросплетениях человеческих отношений и о вселенной души. И его тексты – точные, едкие, проникающие в суть и трагичные, как сама жизнь. Йейтсу не присуща витиеватость слога, он не нагружает текст лишними эпитетами. Все ясно и так: есть картинка, есть ситуация, есть герои. Есть неказистая, странная, путаная жизнь.

Санкт-Петербургские ведомости

Жизнь его не щадила в той же мере, в какой он не щадил ее. Однако Йейтс не стал ни новым Буковски, ни вторым Олгренем. Строгостью письма он напоминает, пожалуй, Генри Джеймса с его «Поворотом винта» или Тургенева лучших времен. Романы Йейтса социальные, но эта социальность естественна, как дыхание... Еще одним действующим лицом его романов является госпожа Пошлость – во всех ее милых, задушевных и смертоносных проявлениях, которые у русского читателя вызывают в памяти чеховские «Три сестры», чтобы не вспоминать хрестоматийные «Крыжовник» и «Ионыч». «Тонкая», «изысканная», «естественная», «чуткая», «проникновенная» – все эпитеты, которые сегодня с удовольствием прилагают к прозе Йейтса, совершенно адекватны.

OpenSpace.ru (<http://openspace.ru/>)

Посвящается Шейле

То нежностью, то буйством плоть томилась!

Джон Китс

[1 - Джон Китс (1795–1821) – выдающийся английский поэт-романтик. В эпиграфе строчка из шестой строфы его поэмы «Изабелла, или Горшок базилика» (1818) (перевод Галины Гампер). Здесь и далее примечания переводчика.]

Истаяли финальные реплики генеральной репетиции, и притихшим актерам не осталось ничего иного, как беспомощно щуриться в черневшую за рампой пустоту. Затаив дыхание, они следили за низеньким упитанным режиссером, который поднялся на сцену, выволок из-за кулис стремянку и, отперхавшись, с высоты третьей ступеньки поведал, что все исполнители чертовски талантливы и работа с ними – в радость.

– Перед нами стояла непростая задача, – сказал он, важно посверкивая очками. – Мы столкнулись с кучей проблем, и, если честно, я почти смирился с тем, что ничего грандиозного не случится. Но вот что я вам скажу. Пусть это звучит банально, однако сегодня что-то произошло. Я сидел там и вдруг нутром почувствовал: нынче все вы играете с душой. – Режиссер прижал растопыренные пальцы к карману рубашки, обозначив местоположение души, затем безмолвно, но многозначительно потряс кулаком, а его зажмуренный глаз и выпяченная мокрая губа были знаком гордого триумфа. – Сыграйте так завтра, и мы произведем фурор.

От облегчения артисты едва не разрыдались. Всех еще колотило, однако слез не было, пошли крики, рукопожатия и поцелуи, затем кто-то сбегал за ящиком пива, и все, сгрудившись вокруг пианино, горланили песни, пока единодушно не решили, что с гулянкой надо завязывать и хорошенько выспаться.

– До завтра! – перекликались артисты, счастливые, как дети.

Разъезжаясь по домам, они вдруг поняли, что в машине можно опустить стекла, дабы впустить ночной воздух, полный целебных ароматов земли и первых цветов. Многие только сейчас заметили, что пришла весна.

Дело происходило в 1955 году в Западном Коннектикуте, где недавно широкая оживленная автострада под названием «Шоссе № 12» объединила три разросшихся поселка. Любительская, но со средствами и весьма серьезными намерениями труппа «Лауреаты» была тщательно скомпонована из молодежи всех трех поселков и готовила свой первый спектакль. Всю зиму они собирались в чьей-нибудь гостиной и взахлеб говорили о Шоу[2 - Шоу, Джордж Бернард (1856–1950) – английский драматург, лауреат Нобелевской премии (1925).], Ибсене[3 - Ибсен, Генрик (1828–1906) – норвежский драматург, автор социально-реалистических драм.] и О’Ниле[4 - О’Нил, Юджин (1888–1953) – драматург, реформатор американской сцены.], затем провели голосование, на котором здравомыслящее большинство выбрало «Окаменевший лес»[5 - «Окаменевший лес» (1935) – пьеса американского драматурга Роберта Шервуда (1896–1955). Краткое содержание: Писатель-идеалист Алан Сквайерс устал от жизни; без цента в кармане он бредет по шоссе в аризонской пустыне и знакомится с Габриэллой – дочерью хозяина старой бензоколонки. Девушка мечтает учиться в Париже. На заправку подъезжают супруги Чисхолм, Габриэлла уговаривает их отвезти писателя в Калифорнию. Но уехать не удастся: безжалостный гангстер Дюк Манти и его сообщники, совершившие убийства в Оклахоме, берут всех в заложники. Алан Сквайерс называет гангстера «последним великим апостолом грубого индивидуализма» и просит, чтобы тот его застрелил. В 1936 г. по пьесе был снят одноименный фильм; режиссер Арчи Майо, актеры Лесли Ховард, Бетт Дэвис, Хамфри Богарт, Джо Соьер.], и распределили роли; все чувствовали, как день ото дня крепнет их преданность Театру. Наверное, коротышка-режиссер казался им забавным (каким он отчасти и был: в простоте слова не скажет, а после замечаний непременно вскинет голову, отчего затрясутся его толстые щеки), но его любили и уважали, а также беспредельно верили ему почти во всем. «Любая пьеса заслуживает того, чтобы ее играли с полной отдачей, – внушал он. – Помните: мы не просто готовим спектакль, но создаем любительский театр, а это чертовски важная штука».

Беда в том, что с самого начала «лауреаты» опасались выставить себя дураками, а боязнь в том признаться лишь усугубляла страх. Первое время репетиции проходили по субботам – безветренным февральским или мартовским полднем, когда деревья чернеют на фоне белесого неба, а бурые поля и взгорки в съезжившихся снежных латках кажутся беззащитно голыми. Притормозив на крыльце черного хода, чтобы застегнуть пальто или натянуть перчатки, «лауреаты» оглядывали пейзаж с редкими, потрепанными непогодой старыми домами, и собственные жилища казались им неуместной эфемерностью, кучей новых ярких игрушек, беспечно забытых во дворе и вымоченных дождем. Их излишне большие, сверкающие расцветкой леденцов и мороженого автомобили

тоже выглядели чужеродно и будто морщились от грязных брызг, когда сконфуженно ползли по разбитым дорогам, со всех сторон сходявшимся к ровной стреле шоссе № 12. Оказавшись в привычной среде – длинной яркой долине цветного пластика, зеркального стекла и нержавеющей стали (КИНГ КОН, МОБИЛГАС, ШОПОРАМА, ЕДА), машины будто облегченно вздыхали, но затем друг за другом съезжали на петлистый проселок, что вел к школе, и парковались на тихой стоянке перед входом в актовый зал.

– Привет! – «Лауреаты» смущенно здоровались и нехотя входили в школу. – Привет!.. Привет!..

Шаркая по сцене тяжелыми галошами, сморкаясь в бумажные платки и хмурясь в блеклый текст ролей, они раскрепощали друг друга раскатами великодушного смеха и беспрестанно повторяли, что у них еще уйма времени и все уладится. Однако все понимали, что времени мало, а от участвовавших репетиций дело идет только хуже. Режиссер уже давно объявил, что они «сдвинулись с мертвой точки и зажили в образах», но все было статично, бесформенно и нечеловечески тяжеловесно; снова и снова обещание провала читалось в их глазах, в смущенных улыбках и прощальных кивках, в суетливой поспешности, с какой они бросались к машинам, чтобы ехать домой, где их поджидало застарелое, но менее явное предчувствие грядущего позора.

И вот нынче, за сутки до премьеры, они умудрились что-то сотворить. В этот первый теплый вечер они, шалея от непривычности грима и костюмов, забыли о своих страхах и отдались течению пьесы, которая понесла их, точно волна; пусть это звучит банально (и что такого?), но все играли с душой. Чего же еще желать?

Публика, прибывшая на спектакль в змеящейся чередой сверкающих автомобилей, тоже была очень серьезна. Подобно «лауреатам», она состояла из зрелой молодежи, облаченной в красивые наряды, стиль которых нью-йоркские одежные магазины характеризуют как «загородный свободный». Всякий заметил бы, что это не просто зрительская толпа, но образованные, имеющие хорошую работу и достаток люди, которые нынешнее событие считают значимым. Разумеется, они понимали, что «Окаменевший лес» вряд ли входит в число великих драматических произведений, о чем и говорили, рассказываясь по местам. Однако пьеска симпатичная и злободневна не меньше, чем в тридцатые годы. («Если вдуматься, сейчас она даже актуальнее», – твердил один человек,

обращаясь к жене, которая жевала губами и понимающе кивала.) Впрочем, главной была не пьеса, а труппа, смело выступившая с благотворной и обнадеживающей идеей – создать в здешних краях по-настоящему хороший любительский театр. Именно эта идея привлекла столько зрителей, чтобы заполнить больше половины зала, именно она создала напряженную тишину предвкушаемой радости, после того как в партере погас свет.

Когда подняли занавес, еще колыхался задник, потревоженный бегством рабочего сцены, а первые реплики актеров потонули в закулисном шуме. Эти маленькие накладки были сигналом о возрастающей истерике «лауреатов», но за рампой они выглядели еще одним знаком неминуемой удачи и обаятельно говорили: «Одну минутку! Вообще-то, еще ничего не началось. Мы тут слегка нервничаем, так что вы уж потерпите». Вскоре уже никаких извинений не требовалось, ибо вниманием публики завладела исполнительница главной роли.

Ее звали Эйприл Уилер; едва она появилась на сцене, как по залу прокатилось слово «миленькая». Чуть позже к нему прибавились одобрительные подталкивания локтями, шепоток «хороша!» и горделивые кивки тех, кто знал, что менее десяти лет назад она отучилась в одной из ведущих театральных школ Нью-Йорка. Казалось, эта двадцатидевятилетняя высокая пепельная блондинка, чью породистую красоту не могло исковеркать даже любительское освещение, идеально подходит к роли. Не имело значения, что после рождения двух детей красавица чуть погрузнела в бедрах, ибо двигалась она с девичьей грацией, стыдливой и чувственной. Если б кто-нибудь взглянул на Фрэнка Уилера – молодого мужчину с круглым умным лицом, который, сидя в последнем ряду, грыз кулак, – он счел бы его скорее поклонником, нежели супругом актрисы.

«Порой я будто вся искрюсь, – говорила героиня. – Хочется выбежать на улицу и сотворить что-нибудь совершенно безумное и чудесное...»

Сгрудившиеся в кулисах актеры вдруг полюбили ее. По крайней мере, были готовы полюбить (даже те, кого возмущала ее строптивость на репетициях), ибо внезапно она превратилась в их единственную надежду.

Утром исполнитель главной роли свалился с чем-то вроде желудочного гриппа. На спектакль он пришел весь в жару, но уверял, что играть сможет, однако за пять минут до поднятия занавеса заблевал всю гримерную, и режиссеру не оставалось ничего другого, как отправить героя домой и взяться за его роль. Все

произошло так быстро, что никто не додумался выйти к публике и объявить о замене исполнителя; второстепенные персонажи не знали о ней до тех пор, пока со сцены не донесся голос режиссера, произносившего знакомый текст, который они привыкли слышать из уст другого человека. Постановщик лез из кожи вон и с полупрофессиональным блеском докладывал каждую реплику, но было очевидно, что он, приземистый, плешивый и почти слепой без очков, в которых не пожелал выйти на сцену, совершенно не годится на роль Алана Сквайерса. При его появлении актеры переврали текст и забыли мизансцены, а режиссер, пробираясь через важный монолог героя о собственной ненужности («Да, бесцельный ум, беззвучный шум, бессодержательная форма»), взмахнул руками и опрокинул стакан с водой. Оплешность он попытался обыграть смешком и отсебятиной: «Видали? Вот до чего я никчем. Дайте-ка вытру...», но монолог был запорот. Вирус катастрофы, грозно дремавший последние недели, вырвался из беспомощно блевавшего исполнителя и скопил всю трупку, кроме Эйприл Уилер.

«Неужто вам не нужна моя любовь?» – спрашивала она.

«О нет, Габриэлла, – отвечал взмокший режиссер. – Мне нужна ваша любовь».

«Я вам нравлюсь?»

Режиссерская нога под столом задержалась, словно на ниточке.

«Это слово не годится, есть другие, лучше».

«Давайте хоть с него начнем».

Эйприл тянула воз одна и с каждой репликой явно слабела. Еще до окончания первого акта публика заметила, что она, как и все другие, скисла, а вскоре на нее было уже неловко смотреть. Ее кидало от жуткого наигрыша до страшного зажима, голова ушла в плечи, и даже сквозь толстый слой грима проступила краска унижительного стыда.

Потом на сцену выскочил Шеп Кэмпбелл – рыжий толстяк-инженер, игравший гангстера Дюка Манти. С самого начала Шеп вызывал сомнения у всей труппы, но он и его жена Милли, занимавшаяся реквизитом и афишами, были так восторженны и дружелюбны, что никому не хватило духу предложить другого

исполнителя. Результатом сего попустительства, усугубленного виноватым мандражом самого Кэмпбелла, стало то, что он пропустил ключевую реплику, а другие произносил невнятной скороговоркой, слышной не дальше шестого ряда, и вообще выглядел не матерым уголовником, а услужливым бакалейным приказчиком – согласные кивки, закатанные рукава и прочее.

В антракте публика вывалилась покурить и неуклюжими стайками слонялась по коридору, изучая школьную доску объявлений и отирая влажные ладони об идеально скроенные брюки и элегантные юбки. Никому не хотелось возвращаться в зал и высиживать второй акт, однако все вернулись.

Так же поступили и «лауреаты», которыми владело одно желание, простое, как пот на их лицах: пусть это прискорбное мероприятие закончится как можно скорее. Спектакль казался нескончаемым и безжалостным испытанием на прочность, в котором Эйприл Уилер выглядела не лучше, если не хуже других. В кульминационной, берущей за душу сцене гибели героя, когда, согласно ремаркам, реплики перемежаются выстрелами с улицы и очередями автомата Дюка, Шеп Кэмпбелл палил так невпопад, а закулисные выстрелы были так громки, что весь любовный текст потерялся в оглушительной и дымной стрельбе. Окончание спектакля стало актом милосердия.

Негромких добросовестных аплодисментов хватило на два поклона; первый подъем занавеса настиг «лауреатов» на пути к кулисам – артисты развернулись и сбились в кучу, а второй представил живую картину «Опустошенность» с участием трех главных героев: режиссер близоруко щурился, Шеп Кэмпбелл впервые за вечер выглядел надлежаще свирепо, лицо Эйприл Уилер парализовало деланой улыбкой.

В зале зажегся свет; зрители не знали, куда девать глаза и что говорить. Слышался неуверенный голос риелтора миссис Хелен Гивингс, без конца повторявшей: «Очень мило!» – но большинство упорно молчало и, на шаривая сигареты, выбиралось в проход. Нанятый осветителем старшеклассник в скрипучих кроссовках запрыгнул на сцену и стал отдавать распоряжения незримому напарнику на колосниках. Застенчиво красуясь перед рампой, он умудрялся держать в тени большую часть своих ярких прыщиков, но гордо выставлял напоказ орудия осветительского ремесла – нож, плоскогубцы и мотки проволоки, которые торчали из мягкой кожаной кобуры, съехавшей на его туго обтянутую комбинезоном задницу. Затем прожектора погасли, парень включил «дежурку», и занавес превратился в унылую стену из выцветшего зеленого

бархата, исполосованного пылью. Теперь смотреть было не на что, кроме многоликой толпы, попарно пробиравшейся к выходу. На лицах зрителей застыло изумленное беспокойство, словно тихое организованное бегство стало для них первой необходимостью и жить было невозможно, если не вырваться с хрусткого гравия парковки, окутанной розовыми облачками выхлопов, к черному бездонному небу с сотнями тысяч звезд.

2

Фрэнклин Х. Уилер был среди тех немногих, кто шел против течения толпы. Надеясь не выглядеть нелепо, он с деликатной неспешностью бочком пробирался к служебному входу, приговаривая: «Извините... Прошу прощения...» – улыбался и кивал знакомым, пряча в кармане искусанную, обслюнявленную руку.

Днями Фрэнку, ладному и крепкому brunetu с короткой стрижкой, исполнилось тридцать; его неброская привлекательность могла бы заинтересовать рекламного фотографа, пожелавшего изобразить вьедливого потребителя добротных, но недорогих товаров («Зачем переплачивать?»). Хотя нечетко вылепленное, его невероятно подвижное лицо было способно на мгновенную смену выражений, отчего иногда казалось, что оно принадлежит совершенно разным людям. Улыбчивое, оно говорило, что его хозяин, остроумный добряк, протискивающийся сквозь толпу, прекрасно понимает пустячность любительской неудачи и точно знает нужные слова, какими утешить жену; но временами улыбка гасла, а во взгляде вспыхивал огонек вечной растерянности, и тогда казалось, что этот человек сам нуждается в утешении.

Дело в том, что, днем маясь на службе, которую он называл «тягомотиной из тягомотин», Фрэнк черпал силы в предвкушении нынешнего вечера: вот он влетает домой и подбрасывает в воздух хохочущих ребятишек, затем опрокидывает стаканчик, они с женой болтают за ранним ужином, и он сам отвозит ее в театр, ободряюще похлопывая по тугой ляжке («Ах, меня всю трясет, Фрэнк!»); на спектакле он очарован, его распирает от гордости; когда падает занавес, он присоединяется к шквалу оваций и, сияющий, в растрепанных чувствах, сквозь ликующую толпу продирается за кулисы, чтобы первым получить поцелуй от заплаканной жены («Получилось, милый?

Правда?»); потом в компании восхищенных Шеп и Милли Кэмпбелл они идут выпить, под столом он держит ее за руку, и они вновь и вновь говорят о спектакле. Ничто в этих планах не предвещало тяжелого удара реальности, ничто не предупредило о том, что его ошеломит зыбкий светящийся призрак той давней девушки, от взгляда и жеста которой горло перехватывало желанием («Неужто вам не нужна моя любовь?»), а затем прямо на глазах тот образ растворится и возникнет до боли знакомое, неловкое, мучающееся создание, о котором он ежедневно старался забыть, но знал как самого себя, – зажатая сухопарая женщина, чьи покрасневшие глаза полыхали упреком, чья фальшивая улыбка на поклоне была известна, как собственная стертая нога, как собственная испарина, прокравшаяся под белье, как собственный кисловатый запах.

Перед дверью Фрэнк остановился и осмотрел свою руку в розовых пятнах – ничего, а то уж боялся, что изгрыз до мяса. Потом одернул пальто и по ступенькам взошел в грязноватую комнату, где неприятно яркие пятна света от голых лампочек под высоким потолком перемежались глубокими тенями; там и сям стояли группки размалеванных «лауреатов» и землистых посетителей. Эйприл здесь не было.

– Нет, я серьезно, – говорил кто-то. – Ты понял или нет?

– Да черт-то с ним, все равно это классная потеха, – отвечал другой.

Режиссер, окруженный скудной горсткой нью-йоркских друзей, жадно затягивался сигаретой и качал головой. Шеп Кэмпбелл, усеянный бисеринами пота, все еще держал автомат, но уже явно очухался; он стоял возле лебедки занавеса и свободной рукой обнимал свою маленькую востребованную жену – оба демонстрировали решимость посмеяться и обо всем забыть.

– Фрэнк! – Привстав на цыпочки, Милли Кэмпбелл окликнула его через рупор ладоней, словно старалась перекричать многолюдную и шумную толпу. – Мы ждем вас с Эйприл! Дербалызнем?

– Ладно, через пару минут! – ответил Фрэнк и подмигнул Шепу, взявшему автомат «на караул».

В уголке подручный гангстер разговаривал с зареванной пухлой девицей, которая в первом акте опоздала на выход, из-за чего в спектакле возникла полуминутная дырка. Сейчас девица бодро колотила себя по голове и приговаривала:

– Оссподи! Убить меня мало!

– Ей-богу, это классная потеха, – бубнил гангстер, опасливо размазывая по щекам вазелин. – Сечешь? А в таких делах оно самое главное.

– Извините... – Фрэнк протиснулся к двери гримерной, которую вместе с другими актрисами занимала его жена.

Он постучал и, вроде бы услышав «войдите», осторожно заглянул в комнату. Эйприл была одна; сидя навтыжку перед зеркалом, она снимала грим. Прежде чем повернуться к мужу, она сощурила воспаленные глаза и послала ему слабое подобие поклонной улыбки:

– Привет, ты уже готов?

Фрэнк закрыл дверь и сотворил мину, которая должна была передать его любовь, сочувствие и юмористическое отношение к провалу; он собирался чмокнуть жену и сказать: «Знаешь, ты была великолепна». Однако что-то неуловимое в ее позе говорило о том, что лучше ее не трогать, а заготовленная похвала будет совсем не к месту и прозвучит снисходительно или по меньшей мере наивно, сентиментально и чересчур серьезно.

– Да, кажется, триумф не случился. – Не зная, чем занять руки, Фрэнк небрежно кинул в рот сигарету и звучно щелкнул «Зиппо».

– Похоже на то, – ответила Эйприл. – Сейчас я буду готова.

– Все нормально, не спеши.

Фрэнк сунул руки в карманы и уставился на ботинки, в которых поджались усталые пальцы. Может, все-таки стоило сказать: «Ты была великолепна»? Дежурная фраза, но все же лучше того, что он ляпнул. Предстояло еще

выдумать, что говорить потом, но сейчас в голове крутилась лишь мысль о двойном виски, который он выпьет в компании Кэмпбеллов. Глянув в зеркало, Фрэнк сжал челюсти и слегка наклонил голову, чтобы лицо казалось уже и внушительней, – вид, который он с детства придавал своему отражению и который никогда не удавалось ухватить фотографам, но вздрогнул, заметив, что за ним наблюдают. В зеркале он увидел неуютно пристальный взгляд жены, через секунду сместившийся на среднюю пуговицу его пальто.

– Окажи мне услугу, – попросила Эйприл. – Дело в том... – Казалось, из последних сил она старается, чтобы голос ее не дрожал. – Понимаешь, Милли и Шеп хотели где-нибудь посидеть. Скажи, мы не можем, ладно? Мол, надо отпустить няньку или что-нибудь такое.

Не вынимая рук из карманов и ссутулившись, Фрэнк на негнущихся ногах прошелся по комнате, точно адвокат из пьесы, обдумывающий деликатную заваку в деле.

– Знаешь, я уже сказал, что мы идем. Только что столкнулся с ними за кулисами.

– Да? Ну так скажи, что напутал. Делов-то...

– Слушай, не надо так. Я подумал, дерябнуть будет совсем неплохо, вот и все. Теперь как-то невежливо отказываться, а? Согласись?

– То есть ты не скажешь. – Эйприл закрыла глаза. – Ладно, тогда я сама. Премного благодарна.

В зеркале ее голое, блестящее от кольдкрема лицо казалось сорокалетним и измученным физической болью.

– Да погоди ты. Не заводись, а? Я же не сказал, что не пойду. Просто они сочтут это ужасной грубостью. Это уж так. И я тут ни при чем.

– Ладно, если хочешь, иди с ними, только дай ключи от машины.

– Ну вот, начинается! Почему ты всегда...

– Слушай, Фрэнк... – Эйприл не открывала глаз. – Я никуда ни с кем не пойду. Мне нездоровится, и я...

– Хорошо. – Фрэнк попятился, выставив перед собой дрожащие руки, точно рыбак, сосредоточенно демонстрирующий длину небольшой рыбы. – Все, все. Извини. Я скажу. Сейчас вернусь. Извини.

Пол под ногами гулял, будто палуба корабля, когда он прошел в закулисную часть, где какой-то человек фотографировал узкоплечной камерой со вспышкой («Замерли!.. Чудненько... чудненько...»), а актер, игравший отца Габриэллы, уговаривал пухлую девицу, которая, похоже, опять нацелилась плакать, что нужно просто вычеркнуть этот вечер и больше ничего.

– Ну что, вы готовы? – спросил Шеп Кэмпбелл.

– Боюсь, нам придется свалить. Понимаешь, Эйприл обещала няньке вернуться пораньше, и вот надо...

Физиономии супругов огорченно вытянулись. Милли покусывала нижнюю губу.

– Вот те на! – сказала она. – Что, Эйприл шибко переживает? Бедняжка...

– Да нет, она ничего. Дело не в том, правда. С ней все нормально. Просто нянька ждет, и вот...

За два года их приятельства это была первая подобная ложь, и троица, глядя в пол, прошла через ритуал натужных улыбок и пожеланий спокойной ночи, но всем было паршиво.

Эйприл ждала мужа в гримерной, приготовив любезную светскую улыбку для любого встречного «лауреата», однако им удалось ни с кем не столкнуться. Через боковую дверь они выбрались в пустой гулкий коридор и все его пятьдесят мраморных ярдов, исполосованных лунным светом, шли молча, не касаясь друг друга.

Темнота пахла школой – карандашами, яблоками и конторским клеем, отчего у Фрэнка сладко защипало в глазах и он увидел себя четырнадцатилетним, когда

жил в Честере, Пенсильвания... нет-нет, в Энглвуде, Нью-Джерси, и все свободное время планировал путешествие поездом на Западное побережье. В железнодорожном атласе он изучил варианты пути, неоднократно отрепетировал, как будет держаться в бродяжных джунглях (учтиво, но при необходимости даст в морду), и в витрине военного магазина полностью подобрал свой гардероб: джинсы и куртка «Ливайс», рубашка хаки с погончиками, высокие ботинки со стальными набойками на каблуках и носках. Отцовская старая фетровая шляпа, изнутри проложенная свернутой газетой, отлично держалась на голове и была хорошим мазком в образе «честная бедность», а все необходимое в путешествии умещалось в рюкзак, который был искусно укреплен клейкой лентой, заодно скрывавшей бойскаутскую эмблему. Наиприятнейшей особенностью плана была его абсолютная секретность, сохранявшаяся до тех пор, когда в школьном коридоре он, поддавшись порыву, пригласил в попутчики жирного Кребса, которого в то время считал своим лучшим другом. Тот опешил: «Чего, товарняком? – а потом загоготал: – Ну ты даешь, Уилер! Интересно, далеко ли ты уедешь? Как это тебе втемяшилось? В кино, что ли, подглядел? Знаешь что? Хочешь, скажу, почему все считают тебя придурком? Потому что ты придурок и есть, вот почему!»

Знакомые запахи разбредили душу, и Фрэнк, взглянув на бледный профиль жены, допустил ее грустное детство в орбиту своих ностальгических воспоминаний. Такое бывало не часто, поскольку ее сухие рассказы не давали повода сентиментальничать («Я всегда знала, что всем на меня плевать, и ни от кого не скрывала, что мне это известно»), но сейчас школьные ароматы напомнили один случай, когда посреди урока у нее начались месячные, ошелобившие своей внезапностью и обильностью. «Сначала я как дура просто сидела, а потом было уже слишком поздно», – рассказывала Эйприл. Фрэнк представил, как она выскочила из-за парты и бросилась вон из класса, а тридцать мальчиков и девочек в немом удивлении смотрели на красное пятно, размером с кленовый лист, на заднюю часть ее белой полотняной юбки. В кошмарной тишине коридора она мчалась мимо дверей, за которыми бубнили ученики, роняла и подхватывала учебники и вновь бежала, оставляя на полу след из аккуратных кровавых капелек. Она подбежала к медкабинету, но войти побоялась и другим коридором полетела к пожарному выходу, где стянула и повязала на поясе свитер; послышались чьи-то шаги, и она выскочила на залитую солнцем лужайку, но домой шла медленно, с высоко поднятой головой, чтобы всякий, кто выглянет из сотни окружающих окон, подумал: ученицу в обычно повязанном на бедрах свитере отправили с каким-то обычным школьным поручением.

Наверное, теперь, когда через пожарный выход другой школы (не такой уж далекой от той, нью-йоркской) они прошли во двор, ее лицо и походка были точно такими же, как в тот день.

Фрэнк надеялся, что в машине Эйприл сядет рядом и он обнимет ее за плечи, но она сжалась в комочек и, притиснувшись к дверце, смотрела в окно на мелькавшие огоньки и тени. Тараща глаза и покусывая сжатые губы, Фрэнк рулил, переключал скорости и, наконец, сочинил фразу:

– Знаешь, в этом спектакле ты была единственным живым человеком. Ей-богу. Я серьезно.

– Ладно, спасибо.

– Просто не надо было связываться с этим дурдомом, вот и все. – Фрэнк расстегнул тугую воротничок, чтобы вздохнуть свободнее и одновременно напитаться чувством зрелой умудренности, исходившим от шелкового галстука и вязкой рубашки. – Ох уж я бы вздул этого... как его?.. Режиссер-то?

– Он не виноват.

– Ну тогда всю эту свору. Все они говнюки, ей-богу. Где только были наши мозги? Главным образом мои. Ты бы ни за что к ним не сунулась, если б мы с Кэмпбеллами тебя не уломали. Помнишь, как мы узнали об этой затее? Ты еще сказала, что, вероятнее всего, они окажутся сборищем идиотов. Да, зря я не прислушался.

– Хорошо, только можно больше об этом не говорить?

– Конечно можно. – Фрэнк хотел похлопать жену по коленке, но та была слишком далеко. – Разумеется. Просто я не хочу, чтобы ты переживала, вот и все.

Уверенно и плавно он вывел машину с ухабистого проселка на твердую прямизну шоссе № 12, чувствуя, что и сам наконец обрел почву под ногами. Свежий ветерок взъерошил его короткую стрижку и остудил мысли, после чего фиаско «Лауреатов» предстало в своем истинном виде. Оно не стоило того, чтобы трепать себе нервы. Разумные люди не тратят душевные силы на подобную

ерунду и всякие другие нелепости смертельно скучной работы и смертельно скучной провинциальной жизни. Финансовые обстоятельства могут швырнуть человека в эту среду, но важно, чтобы она его не засосала. Главное – всегда помнить, кто ты есть.

Знакомой дорожкой, проторенной усилиями не потерять себя, мысли Фрэнка устремились к первым послевоенным годам и обшарпанному дому на Бетьюн-стрит в той части Нью-Йорка, где западный край Гринвич-виллидж плавно переходит в береговые пакгаузы, где соленый ветерок сумерек и басовитые речные трубы ночи наполняют воздух обещанием путешествий. Ему было чуть за двадцать, вместе с потертым твидовым пиджаком и линялыми рубашками он гордо носил титулы «фронтовик» и «интеллигент» и владел одним из трех ключей от однокомнатной квартиры. Двумя другими ключами и правом каждую вторую и третью неделю «пользоваться хатой» обладали два его однокашника по Колумбийскому университету, каждый из которых вносил треть квартплаты, составлявшей двадцать семь долларов. Те двое, бывший летчик-истребитель и бывший морской пехотинец, были старше и вальяжнее в земных удовольствиях (их запас охочих девушек казался неисчерпаемым), но вскоре Фрэнк, к своему робкому изумлению, стал их нагонять. То было время удивительно быстрых наверстываний и головокружительного роста уверенности в себе. Одиноким исследователем железнодорожного атласа, он так и не вскочил на свой товарняк, но теперь уже никакой Кребс не назвал бы его придурком. Армия взяла его в восемнадцать, в Германии швырнула в последнее весеннее наступление, а затем, прежде чем отпустить, одарила бестолковым, но веселым годовым туром по Европе, и с тех пор жизнь набирала обороты. Разболтанность его натуры – та самая черта, что среди одноклассников и однополчан делала его одиноким мечтателем, – вдруг преобразовалась в некое существенное и привлекательное целое. Впервые в жизни им восхищались, и тот факт, что девушки были готовы улечься с ним в постель, лишь слегка превосходил другое сопутствующее открытие: мужчины, причем умные, охотно его слушали. В школе его отметки редко поднимались выше посредственных, однако никто не считал бы посредственными его высказывания в пивных и ночных беседах, которые происходили все чаще и заканчивались одобрителем гулом, сопровождаемым многозначительным постукиванием по лбу – котелок старины Уилера варит. Теперь, говорили все, нужны лишь время и свобода, чтобы он нашел себя. Ему пророчили безоговорочный успех в разных сферах, но все сходились в том, что он предрасположен к «гуманитарной» или даже творческой деятельности; в любом случае это будет нечто требующее упорного и беззаветного труда, для чего понадобится скорая и долгая отлучка в Европу, которую он часто называл единственным стоящим местом на свете. Когда в дневные передышки от бесед

Фрэнк шатался по улицам или ночью размышлял в квартире на Бетьюн-стрит, имея право на «хату», но не имея девушки, он тоже ничуть не сомневался в своих исключительных достоинствах. Ведь биографии всех великих людей полны тем же юношеским поиском, тем же бунтом против отцов и их образа жизни, разве не так? Отчасти даже хорошо, что у него нет определенной сферы интересов: избегая конкретных целей, он тем самым освобождается от конкретных ограничений. На данный момент поле его деятельности – весь мир и сама жизнь.

Еще во время учебы его начали преследовать бесчисленные маленькие депрессии, участившиеся после ее завершения; два однокашника все реже пользовались своими ключами, и Фрэнк в одиночестве размышлял на «хате», перебиваясь случайными заработками, чтобы купить еду. Особенно его изводило то, что до сих пор никто из известных ему девушек не вызвал беспримесного восторга. Одна была весьма мила, но обладала непростительно толстыми лодыжками, другая отличалась умом, но проявляла раздражающую склонность воспитывать, однако обе не входили в разряд первоклассных. Насчет того, что такое первоклассная девушка, сомнений не было, хотя ни к одной из них Фрэнк еще не приближался. Двух-трех он видел в разных школах, где ему довелось учиться, но они высокомерно его не замечали, интересуясь городскими студентами; еще нескольких встретил в армии, но там они чаще всего представляли тени, под звуки танцевальной музыки трепетавшими на далеких золотистых окнах офицерского клуба; в Нью-Йорке их было полно, но они всегда выбирались из такси в сопровождении мрачно нависших над ними мужиков, которые выглядели так, будто сами никогда не были парнями.

Ладно, от добра добра не ищут. Может, логично предположить, что насквозь прокуренному кавалеру, мыслящему в духе Жана Поля Сартра[6 - Жан Поль Сартр (1905–1980) – писатель, философ и публицист, глава французского экзистенциализма; основные темы художественных произведений: одиночество, поиск абсолютной свободы, абсурдность бытия. В 1964 г. Сартру была присуждена Нобелевская премия по литературе, от которой он отказался.], предназначена насквозь прокуренная дама, мыслящая в том же духе? Это была тропа пораженца, но однажды на вечеринке в Морнингсайд-Хайтс[7 - Морнингсайд-Хайтс – жилой и академический район в северной части Манхэттена в Нью-Йорке.] Фрэнк, взбодренный четырьмя порциями виски, ступил на тропу победителя.

– Кажется, я не расслышал ваше имя, – сказал он исключительно первоклассной девушке, чьи сияющие волосы и потрясающие ноги привлекли его с другого конца комнаты, набитой незнакомыми людьми. – Вы Памела?

– Нет, Памела вон там, – ответила она. – Я Эйприл. Эйприл Джонсон.

Через пять минут Фрэнк понял, что она смеется его шуткам и он не только прочно завладел ее вниманием, но еще заставляет ее распахнутые серые глаза скользить по его лицу, словно форма и шероховатость его физиономии представляют громадный интерес.

– Чем вы занимаетесь? – спросила она.

– Я портовый грузчик.

– Нет, серьезно.

– Я серьезно. – В доказательство он показал бы ей ладони, если б не боялся, что она сумеет отличить волдыри от мозолей. Под руководством амбала-однокашника всю прошлую неделю он «осваивался» на торговом причале, качаясь под тяжестью фруктовых ящиков. – Но с понедельника будет работа лучше. Ночной кассир в закусочной.

– Я не о том. Что вас действительно интересует?

– Дорогуша... – (все же он был очень молод, и наглость подобного обращения к девушке, с которой только что познакомился, заставила его покраснеть), – если б я знал ответ, я бы в полчаса уморил нас обоих.

Еще через пять минут они танцевали, и Фрэнк обнаружил, что попка Эйприл Джонсон в аккурат пришлась по его руке, словно для нее и была создана, а неделю спустя, почти день в день, восхитительно голая Эйприл лежала рядом с ним в его квартире на Бетьюн-стрит, окрашенной синевой рассвета, и, нежно проводя пальчиком по его лицу со лба к подбородку, шептала: «Ты самый интересный человек из всех, кого я встречала. Это правда. Честно».

– Потому что оно того не стоит, – говорил Фрэнк, на последней миле шоссе позволив стрелке спидометра в голубой подсветке заскочить за отметку «60».

Почти приехали. Сейчас они выпьют, Эйприл немного поплачет, и ей станет легче, они посмеются над всей этой историей, а потом уйдут в спальню, разденутся, и ее пухлые грудки буду кивать ему и, качаясь, смотреть на него, и ничто не помешает тому, чтобы все было как в старые добрые дни.

– Я к тому, что довольно-таки тяжело обитать среди этих чертовых провинциалов... чего уж греха таить, Кэмпбеллы в их числе... и не принимать близко к сердцу, когда всякий недоумок... Что, прости?

На секунду Фрэнк оторвал взгляд от дороги и был ошарашен картиной в освещении приборной доски: Эйприл зарылась лицом в ладони.

– Я сказала: да. Пожалуйста, Фрэнк. Ты можешь помолчать, пока я окончательно не рехнулась?

Фрэнк резко затормозил и, съехав на песчаную обочину, выключил двигатель и фары. Затем подвинулся на сиденье и обнял жену.

– Нет, пожалуйста, Фрэнк, не надо. Не трогай меня, ладно?

– Малыш, я просто хочу...

– Отстань! Оставь меня в покое!

Фрэнк вернулся за руль и включил фары, но руки отказывались заводить мотор. Он немного посидел, прислушиваясь к барабанному бою крови в ушах, и наконец выговорил:

– Меня поражает вся эта хренотень. Знаешь, ты неплохо разыгрываешь мадам Бовари, но все же я хочу кое-что прояснить. Первое: не моя вина, что спектакль – говно. Второе: я абсолютно не виноват, что актрисы из тебя не вышло, и чем скорее ты забудешь об этой дребедени, тем будет лучше для всех. Третье: я не гожусь на роль бессловесного и равнодушного муженька-провинциала, которую ты мне навязываешь с тех пор, как мы сюда переехали, и черта с два я на нее

соглашусь. Четвертое...

Эйприл выскочила из машины и побежала вперед – быстрая, изящная, чуть полноватая в бедрах. За мгновение до того, как броситься следом, Фрэнк подумал, что она хочет покончить с собой (в такие минуты Эйприл была способна на что угодно), но ярдов через тридцать она остановилась в придорожных кустах под светящейся вывеской «ПРОЕЗДА НЕТ». Тяжело дыша, Фрэнк неуверенно встал поодаль. Эйприл не плакала, просто отвернулась.

– Какого черта? – выдохнул Фрэнк. – Чего ты выкаблучиваешь? Иди в машину.

– Нет. Не сейчас. Дай мне минутку побыть одной, ладно?

Фрэнк вскинул руки, но сзади заурчал мотор, показались фары приближающейся машины, и тогда, сунув одну руку в карман и сгорбившись, он принял нарочито небрежную позу. Мазнув фарами по вывеске и напряженной спине Эйприл, машина проехала, и вскоре ее хвостовые огни растаяли, а шорох шин, перейдя в тихое жужжание, смолк. В черневшем справа болоте во всю мощь надрывались квакши. Впереди, в двух-трех сотнях ярдов, над телефонными проводами вздымался курган Революционного Холма, с вершины которого дружелюбно подмигивали венецианские окна домов. Где-то там жили Кэмпбеллы, которые сейчас могли оказаться в одной из машин, замаячивших на шоссе.

– Эйприл!

Никакого ответа.

– Может, лучше поговорить в машине, а не бегать по трассе?

– Тебе не ясно, что ли? Я не хочу об этом говорить.

– Ладно. Хорошо. Господи, я изо всех сил стараюсь быть деликатным, но...

– Ах, как мило! Как чертовски мило с твоей стороны!

– Погоди... – Фрэнк выдернул руку из кармана, но тотчас сунул ее обратно, потому что опять появились машины. – Послушай меня. – Он старался сглотнуть,

но во рту совсем пересохло. – Не знаю, что ты хочешь доказать, но вряд ли ты и сама это знаешь. Одно знаю точно: этого я не заслужил.

– Ну да, ты всегда удивительно уверен в том, чего ты заслужил, а чего нет. –
Эйприл пошла к машине.

– Нет, погоди! – Фрэнк запнулся о куст. Автомобили проносились в обоих направлениях, но теперь ему было все равно. – Стой, черт тебя подери!

Эйприл привалилась к крылу машины и в наигранном покорстве сложила руки на груди.

– Слушай меня! – Фрэнк тряс пальцем перед ее лицом. – На сей раз тебе не удастся переиначить все, что я говорю. Сейчас именно тот единственный случай, когда я уверен в своей правоте. Знаешь, в кого ты превращаешься, когда ты такая?

– Господи, лучше бы ты остался дома.

– Знаешь, в кого ты превращаешься? В больную! Самую настоящую!

– А знаешь, кем ты становишься? – Эйприл смерила его взглядом. – Дерьмом!

И тогда ссора пошла вразнос. Обоих трясло, их лица кривились от ненависти, которая призывала сильнее врезать по больному месту, подсказывала хитроумные обходы неприятельских укреплений и тактику боя: ложный выпад, а затем удар. В короткие передышки их память неслась к арсеналам проверенного оружия, дабы содрать коросту с заживших ран. Битве не было конца.

– Я никогда не верила твоим рассказням! Дуру нашел! Все твои вычурные моральные сентенции, твоя «любовь», твои сладкоречивые... Думаешь, я забыла, как ты меня ударил, когда я сказала, что не прощу тебя? Я всегда понимала, что должна быть твоей совестью, мужеством... и боксерской грушей. Думаешь, раз удалось поймать меня в капкан...

– Тебя? Тебя в капкан? Ой, не смей!

– Да, меня! – Эйприл изобразила когтистую лапу и цапнула себя за плечо. – Меня! Меня! Ты жалкий, тешащийся самообманом... Взгляни на себя! Какое надо иметь недюжинное воображение... – она тряхнула головой, в ухмылке сверкнули ее зубы, – чтобы считать себя мужчиной!

Эйприл некрасиво съежилась и припала к крылу, когда муж вскинул дрожащий кулак, готовя крюк слева. Но потом в карикатурном боксерском танце он отпрянул в сторону и со всей силы четырежды грохнул по крыше машины: бац!.. бац!.. бац!.. бац!.. Удары стихли, и осталось лишь пронзительное верещанье квакш, разносившееся на мили вокруг.

– Будь ты проклята! – тихо сказал Фрэнк. – Пропади ты пропадом, Эйприл!

– Вот и славно. Можем ехать?

Шумно втягивая воздух запекшимися губами, они уселись в машину, точно древние изможденные старики, у которых трясутся головы и дрожат руки. Фрэнк запустил мотор, аккуратно доехал до подножия Революционного Холма и свернул на уходившую вверх петлистую асфальтовую дорогу под названием «Революционный путь».

Два года назад они, дружелюбно кивающие пассажиры «универсала» миссис Хелен Гивингс, местного риелтора, впервые проехали по этой дороге. Устав понапрасну тратить время с многочисленными клиентами, требующими чего-то немислимого, в телефонном разговоре миссис Гивингс была вежлива, но сдержанна, однако едва Уилеры сошли с поезда, она признала в них пару, с которой не будет хлопот, невзирая на ее скромный достаток. «Они такие милые, – рассказывала она мужу. – Девушка – сплошное очарование, а парень наверняка занимается чем-то важным, он очень приятный, только нелюдим. Нет, правда, когда имеешь дело с такими людьми, буквально отдыхаешь душой». Миссис Гивингс сразу поняла: им нужно что-то нерядовое, но симпатичное – перестроенный амбар, бывший вагон, старый гостевой флигель; ужасно не хотелось огорчать их известием, что подобного уже просто не существует. Однако не стоит падать духом, есть одно местечко, которое, возможно, им понравится.

– Конечно, подъезд тут не особо видный, – щебетала она, сворачивая с шоссе № 12; взгляд ее птичкой скакал с дороги на приятные лица клиентов. – В

основном шлакоблочные домики и вагончики – жилье местных людишек вроде плотников, водопроводчиков и им подобных. Вот дальше расположен просто ужасный новый массив Революционный Холм – огромные и неуклюжие многоуровневые дома, почти все в мерзких пастельных тонах и почему-то жутко дорогие, – честно предупредила она, ткнув в ветровое стекло жестким указательным пальцем, отчего звякнули ее многочисленные браслеты. – Не волнуйтесь, я покажу вам то, что не имеет к ним никакого отношения. Сразу после войны тот дом возвел один наш славный подрядчик, когда еще не началась эта безумная застройка. Ей-богу, и место чудное, и домик очень милый. Простенький, четкие линии, прелестные лужайки для детишек... Вот, за следующим поворотом... дорога здесь уже приятнее, верно? Сейчас увидите – вот он. Вон тот, беленький. Милый, правда? Как он бойко уселся на склоне, да?

– Угу, – ответила Эйприл, когда из-за тонких молодых дубков неспешно выглянул маленький деревянный дом; забравшись на высокий необлицованный фундамент, он таращился чрезмерно большим центральным окном, похожим на огромное черное зеркало. – По-моему, симпатичный... Как тебе, милый? Правда, венецианское окно... но тут уж ничего не поделаешь.

– Наверное, – ответил Фрэнк. – Однако не думаю, чтобы одно венецианское окно разрушило наши индивидуальности.

– Прелестно! – рассмеялась миссис Гивингс, укутывая их теплым одеялом лести; по подъездной аллее они подрулили к дому и выбрались из машины.

Супруги перешептывались, осматривая пустые комнаты, а миссис Гивингс слонялась неподалеку, готовая ободрить и поддержать их решение. Дом был неплох. Вот здесь встанет диван, там большой стол, а книжная стенка прикроет безобразие венецианского окна; умелая расстановка мебели скроет жеманную провинциальность излишне симметричной гостиной. С другой стороны, как раз симметричность-то и привлекательна: стены сходятся под прямым углом, половицы ровны, а идеально подвешенные двери не скребут по полу и закрываются с четким щелчком. Наслаждаясь легким ходом приятных на ощупь ручек, они уже представляли, как все это станет их домом. В безупречной туалетной предвкушали удовольствие от купанья в большой ванне, в коридоре воображали детей, босиком бегающих по дощатому полу, на котором не будет плесени, заноз, тараканов и всякой грязи. Ей-богу, дом хорош. Накопившийся жизненный беспорядок вполне можно рассортировать и приспособить к этому лесному жилью. Пусть на это уйдет время, ну и что? Кого этим испугаешь в

столь просторном, красивом, чистом и спокойном доме?

Сейчас, когда дом выплыл из темноты веселым сиянием кухни и фонарей автомобильного навеса, оба напряжили плечи и стиснули зубы в знак своего нечеловеческого терпения. Неуверенно, точно слепая, Эйприл первой прошла в кухню и ухватилась за большой холодильник, чтобы обрести равновесие; Фрэнк, щурясь, вошел следом. Потом Эйприл коснулась выключателя на стене, и по глазам ударил свет в гостиной. Казалось, все в ней качается и плывет, и даже после того, как предметы успокоились, комната выглядела настороженной. Здесь стоял диван, а там большой стол, но они вполне могли поменяться местами; книжная стенка послушно оспаривала главенство у венецианского окна, но смотрелась как библиотечный стеллаж. Другие предметы обстановки и впрямь убрали намек на жеманство, но не сумели заменить его чем-то иным. Стулья, журнальный столик, торшер и письменный стол выглядели мебелью, произвольно собранной для аукциона. Лишь в одном углу имелись знаки душевного человеческого общения: вытертый ковер, продавленные диванные подушки, полные окурков пепельницы; эту нишу, епархию телевизора, неохотно обустроили менее полугода назад. («Ну и что такого? Детям же хочется... И вообще, глупо воротить нос от телевидения...»)

Скрытая спинкой, миссис Лундквист спала на диване. Теперь нянька резко вскочила и пыталась улыбнуться; она щурилась, клацала вставными зубами и возилась с заколками в растрепавшихся седых волосах.

– Мамочка? – Из детской донесся тоненький, ничуть не заспанный голосок шестилетней Дженифер. – Как там спектакль?

Отвозя миссис Лундквист домой, Фрэнк дважды ошибся с поворотом (старуха, которую мотало от дверцы к приборной доске, решила, что он пьян, и пыталась скрыть испуг застывшей улыбкой), а весь обратный путь зажимал рукой рот. Из всех сил он старался восстановить детали ссоры, но ничего не получалось. Фрэнк даже не понимал, злится он или раскаивается, хочет получить прощение или простить. Горло все еще саднило от криков, рука ныла от ударов по машине (этот момент не забылся), но ярче всего вспоминалась Эйприл на поклоне: втянутая в плечи голова, фальшивая беззащитная улыбка – и тогда накатывали слабость и сочувствие. Надо же было именно сегодня затеять свару! Дорожные огни вдруг стали расплываться, и Фрэнк крепче вцепился в руль.

Когда он подъехал к темному дому, смутно белевшему на фоне черных деревьев и неба, вдруг пришла мысль о смерти. Стараясь не шуметь, он быстро прошел через кухню и гостиную, на цыпочках миновал детскую и осторожно прикрыл за собой дверь спальни.

– Эйприл, – прошептал Фрэнк. Он стянул пальто и тяжело присел на край нечетко видневшейся кровати, приняв классическую позу раскаяния. – Пожалуйста, выслушай. Я не трону тебя. Я только хочу сказать... да что тут говорить... Прости меня...

Размолвка обещала быть муторной и долгой. Уже хорошо, что они одни в тишине своей спальни, а не орут на шоссе; уже хорошо, что скандал перешел во вторую фазу обычной затяжной обиды, которая, какой бы глубокой ни была, всегда заканчивалась примирением. Теперь ей деваться некуда, да и он уже не взбеленится – оба слишком устали. В начале их семейной жизни эти периоды глухого молчания были еще страшнее оскорбительных воплей, и всякий раз он думал: теперь достойно ссору не кончить. Но способ, достойный или нет, всегда находился – надо было просто извиниться, а затем выждать, стараясь поменьше думать о конфликте. И сейчас мысль об этом грела, как старое и некрасивое, но удобное пальто. Она сладостно облежала, позволяя напрочь откинуть волю и гордость.

– Не знаю, что с нами случилось, – сказал Фрэнк, – но что бы там ни было, поверь, я... Эйприл? – Он ощупал постель – никого. Его слушателями были сбитые одеяла и подушки на разворошенной кровати.

Перепуганный, Фрэнк бросился в ванную, затем в прихожую.

– Эйприл!

– Уйди, пожалуйста, – раздался ее голос.

Завернувшись в одеяло, она сидела на диване, где прежде вздремнула миссис Лундквист.

– погоди, я тебя не трону. Я только хочу попросить прощения.

– Прекрасно. А сейчас оставь меня в покое.

3

Тишину сна прорезал надрывный механический вой. Фрэнк попытался укрыться от него, забравшись глубже в прохладную тьму, где еще плавала дымка увлекательного сна, но противное нытье не отставало и наконец заставило выпучить глаза.

Был двенадцатый час субботнего утра. Разламывалась голова, в ноздри будто забили резиновые пробки; вялая весенняя муха ползала внутри мутного стакана на полу рядом с бутылкой, где виски осталось на донышке. Лишь после этих открытий стали припоминаться события ночи: до четырех утра он квасил и обеими руками методично скреб голову, убежденный, что заснуть не сможет. И лишь потом сосредоточившийся мозг растолковал происхождение звука: выла ржавая газонокосилка, которую требовалось смазать. На заднем дворе кто-то стриг траву, что Фрэнк обещал сделать еще в прошлые выходные.

Он с трудом сел, нащупал халат и провел языком по ссохшемуся нёбу. Потом встал и, сощурившись, глянул в яркое окно. В мужской рубашке и просторных штанах Эйприл взад-вперед волохала раздолбанную косилку, а следом за ней скакали дети с пригоршнями срезанной травы.

В ванной с помощью холодной воды, зубной пасты и бумажных салфеток Фрэнк оживил рабочие части головы, вновь обретя способность поглощать кислород и до некоторой степени управлять мимикой. А вот руки реанимации не подлежали. Опухшие и белые, они выглядели так, словно из них безболезненно удалили кости. Команда «Сжаться в кулак!» заставила бы их хозяина рухнуть на колени и тихонько завывать. Вид пальцев с обгрызенными ногтями, которым еще никогда не удавалось отрасти, вызывал желание до крови исколотить их о раковину. Вспомнились руки отца, и тогда память услужливо подсказала, что до внедрения косилки, головной боли и яркого света сон был о давнем безмятежном покое. В нем присутствовали оба родителя, и Фрэнк слышал голос матери: «Не буди его, Эрл, пусть еще поспит». Больше ничего не вспоминалось, а потом сон окончательно растаял, едва не заставив расплакаться от своей нежности.

Родители умерли несколько лет назад, и Фрэнк иногда тревожило, что он плохо помнит их лица. Без помощи фотографа память представляла отца в виде нечеткой лысой головы с густыми бровями и ртом, навеки искривленным досадой или раздражением, а мать – очками без оправы, сеточкой для волос и робким мазком губной помады. Оба помнились вечно усталыми. Утомленные воспитанием двоих сыновей, к моменту рождения Фрэнка они были далеко не первой молодости и неуклонно уставали все больше и больше, пока окончательно не выдохлись и не умерли одинаковой легкой смертью во сне, один через полгода после другого. Однако отцовские руки помнились только сильными, и время с забывчивостью не могли замутнить их образ.

Вот одно из ранних воспоминаний: «Ну-ка разожми!» Ему протягивают огромный, до дрожи сжатый кулак, но отчаянные попытки двумя руками отогнуть хотя бы один палец ни разу не увенчались успехом и лишь порождали отцовский смех, эхом отражавшийся от кухонных стен. Он завидовал не только силе, но уверенности и чуткости его рук, наделявших аурой великолепия любой предмет: скрипучую ручку коммивояжерского портфеля свиной кожи, рукоятки всех столярных инструментов, волнующе опасные приклад и курок дробовика. Ты будто сам чувствовал, каково держать их в руках. Когда Фрэнку было лет пять-шесть, его особенно притягивал портфель, по вечерам стоявший в полутемной прихожей; иногда после ужина мальчик отважно подбирался к нему и представлял, что владеет этой драгоценностью. Ах, какой он великолепный и гладкий, как невероятно толста его ручка! Тяжеленький (ух ты!), но как легко он покачивался возле отцовской ноги! Лет десяти-двенадцати Фрэнк познакомился с плотницким инструментом, но эти воспоминания лишены приятности. «Нет-нет, сынок! – Отец перекрикивал визг мотопилы. – Ты загубишь инструмент! Неужто сам не видишь? Так нельзя!» Стамеска, долото, коловорот или другое твердолобое орудие, столярничавшее в поте лица, изымалось из неумелых рук и зависало в воздухе для подробного осмотра на предмет повреждений. Затем следовала лекция о надлежащем обращении с инструментом, подтвержденная мастерской демонстрацией (во время которой мелкие стружки золотинками цеплялись за волосатые руки), но чаще слышались вздох человека на краю терпения и тихие слова: «Ладно. Ты уж лучше иди отсюда». В столярной мастерской каждый раз все так и заканчивалось, и по сию пору Фрэнк чувствовал себя униженным, когда вдыхал желтый запах опилок. Испробовать дробовик, слава богу, не довелось. К тому времени, когда Фрэнк достаточно подрос, чтобы сопровождать отца в его все более редких охотничьих вылазках, хроническое разногласие между ними давно уже исключило подобную возможность. Старику в голову не приходило позвать с собой сына, а Фрэнк, который переживал период мечтаний о товарняке, даже не помышлял о таком

приглашении. Что за радость сидеть в луже, чтобы настрелять кучу уток? Кому, скажите на милость, интересно возиться с дурацкими инструментами? А главное, кто захочет стать квелым коммивояжером, который разгуливает с портфелем, набитым скучными каталогами, и строит из себя важную шишку, а сам целыми днями рассусоливает о счетных машинах перед сборищем тупых приказчиков, дымящих сигарами?

Но и тогда, и после, и даже во времена бунтарства на Бетьюн-стрит, когда папаша уже превратился в сварливого старого дурня, клевавшего носом над «Ридерс дайджест», Фрэнк верил, что в руках отца живет нечто прекрасное и неповторимое. Даже на смертном одре, когда высохший и ослепший Эрл Уилер лишь квохтал («Кто здесь? Фрэнк? Это Фрэнк?»), хватка его сухих рук была по-прежнему уверенной, а когда наконец они расслабленно замерли на больничной койке, то все равно выглядели сильнее и красивее, чем руки его сына.

– Да уж, мозгоправы прибалдели бы от меня, – криво усмехался Фрэнк в беседах с друзьями. – Нет, точно, одних отношений с папашей, не говоря уж про матушку, хватило бы на целый учебник. Ну прям тебе гнездилище психов!

И все-таки, когда ему было тревожно и одиноко, вот как нынче, он радовался, что может наскрести в себе толику искренней любви к родителям. Пусть жизнь складывалась не так уж просто, некогда в ней хватало покоя для приятных мечтаний, благодаря которым его душевное здоровье было гораздо крепче жениного. Если уж ему психиатры возрадуются, бог знает, каким пиршеством для них станет Эйприл.

В ее скудных рассказах о родителях ничто не вызывало его сочувствия, словно в романах Ивлины Во[8 - Ивлин Во (1903–1966) – английский писатель, его романы отличают психологизм, гротеск, колоритные, эксцентричные характеры.]. Неужели такие люди и вправду бывают? Он видел их лишь как мерцающую картинку из двадцатых годов: Повеса и Ветреница, загадочно богатые, беспечные и жестокие; посреди Атлантики обвенчанные капитаном корабля, они разбежались менее чем через год после рождения единственного ребенка.

– Кажется, прямо из роддома мать отвезла меня к тете Мэри, – рассказывала Эйприл. – По-моему, до пяти лет я жила у нее, потом была пара других теток или каких-то подруг, а уж затем я попала к тете Клер.

Еще она поведала, что в тысяча девятьсот тридцать восьмом году отец застрелился в номере бостонского отеля, а через несколько лет, после долгого заточения на Западном побережье в лечебнице для алкоголиков, умерла мать. Вот и весь рассказ.

– Ничего себе! – сказал Фрэнк, когда невыносимо жаркой летней ночью впервые услышал эту историю (он грустно покачал головой, но и сам не знал, что его гложет: сочувствие несчастью или зависть к судьбе, драматизмом сильно превосходящей его собственную). – Наверное, тетка заменила тебе мать, да?

Эйприл пожала плечами и чуть скривила рот, приняв «крутой вид», который позже ему так не нравился.

– Ты про какую тетку? – спросила она. – Мэри и других я почти не помню, а Клер всегда ненавидела.

– Да перестань! Как ты можешь так говорить? Ненавидела! Может, сейчас тебе так кажется, но в те годы наверняка она внушала тебе... ну, там, любовь, чувство защищенности и все такое...

– Значит, не внушала. Подлинная радость была, когда меня навещал кто-нибудь из родителей. Вот их я любила.

– Но они же почти никогда не приезжали! При таком раскладе даже не почувствуешь, что они вообще есть. Как же их любить?

– А вот любила, и все.

Эйприл стала собирать в шкатулку разложенные на кровати вещицы: свои фото в разные годы на разных лужайках, где она снята с кем-нибудь из родителей; миниатюрный портрет матери; пожелтевший снимок в кожаной рамке – высокие, элегантные мать и отец стоят под пальмой, внизу надпись «Канн, 1925»; мамино обручальное кольцо; медальон с локоном бабушки с маминой стороны; белую пластмассовую лошадку размером с брелок, красная цена которой два цента, но которую сберегали все эти годы, потому что «ее подарил отец».

– Ладно, бог с ним, – согласился Фрэнк. – Возможно, они казались романтичными и прочее, такими ослепительными красавцами и все такое. Я не о том, я про любовь.

– Так и я про любовь. Я их очень любила.

Эйприл защелкнула шкатулку. Грустное молчание было таким долгим, что, казалось, тема закрыта. Для себя Фрэнк ее закрыл – во всяком случае пока. Для спора ночь была слишком жаркой. Но выяснилось, что Эйприл просто тщательно подбирала слова, которые точно выразят ее мысль. Она заговорила и стала так похожа на девочку с фотографии, что Фрэнк устыдился.

– Я любила их одежду, – сказала Эйприл. – Любила, как они говорят. Любила их рассказы о жизни.

После этого ничего не оставалось, как обнять ее; Фрэнка переполнила жалость к убогим сокровищам, и он дал себе клятвенное обещание (которое вскоре нарушит) никогда ее не обижать.

Подсыхающее молочное пятнышко и крошки – вот и все следы детского завтрака, все остальное в кухне сияло идеальной недомашней чистотой. Фрэнк решил, что сейчас выпьет кофе, оденется и отберет у жены косилку (если потребуется, силой), дабы утро обрело хоть какое-то равновесие. Все еще небритый и в халате, он возился с рукоятками электроплиты, когда на подъездной аллее затарахтел «универсал» миссис Гивингс. Фрэнк хотел спрятаться, но было поздно. Сквозь сетчатую дверь гостя его уже заметила, а Эйприл помахала ей с дальнего конца лужайки и продолжила косьбу. Попался. Пришлось с гостеприимным видом встать в дверях. И чего эта баба не дает им покоя?

– Я на минутку! – крикнула миссис Гивингс, шатаясь под тяжестью промокшей картонной коробки с землей и дрожащим растением. – Просто решила завезти вам очиток для того лысого пятачка на вашей аллее. Ну не стойте же столбом!

Фрэнк неловко изогнулся и, придерживая ногой дверь, перехватил у нее коробку.

– Держу, – улыбнулся он, оказавшись почти вплотную к ее напряженному, обсыпанному пудрой лицу.

Миссис Гивингс всегда выглядела так, будто красилась в лихорадочной спешке, желая поскорее развязаться с этим глупым занятием. Она вечно куда-то спешила, эта пятидесятилетняя аккуратная женщина с продубленным лицом, в глазах которой светилась фанатичная вера в необходимость быть занятой делом. Даже когда она стояла, в линии ее плеч и складках свободной, наглухо застегнутой одежды угадывалась кинетическая энергия; садилась она всегда только на краешек жестких стульев, а представить ее в лежащем положении, и тем более спящей, когда лицо отдыхает от фальшивых улыбок, смешков и светских мин, было просто невозможно.

– По-моему, это именно то, что требуется, – говорила миссис Гивингс. – Раньше вы имели дело с этим сортом? Увидите, это идеальный покров даже для кислых почв.

– Ладно, – сказал Фрэнк. – Чудесно. Большое спасибо, миссис Гивингс.

Еще два года назад она просила называть ее Хелен, но язык не поворачивался обратиться к ней по имени. Обычно Фрэнк решал проблему тем, что никак ее не называл, компенсируя нехватку обращения дружескими улыбками и кивками, и миссис Гивингс привыкла в их разговорах тоже обходиться местоимениями. Казалось, ее глазки только сейчас заметили тот факт, что жена стрижет траву, а муж в халате слоняется по кухне. Хозяин и гостя одарили друг друга необычно широкими улыбками. Фрэнк ногой захлопнул сетчатую дверь и перехватил выскальзывающую из рук коробку, из которой песочная струйка вытекала на его голую лодыжку.

– И что нам с этим... делать? – спросил он. – В смысле, как выращивать и все такое.

– Ничего делать не надо. Первое время чуть-чуть поливайте, и он разрастется. Этот сорт очень напоминает молодило, но у того прелестные розовые цветки, а у этого желтые.

– Понятно, молотило.

Миссис Гивингс поведала еще массу сведений о растениях, а Фрэнк кивал и, прислушиваясь к стрекоту и вою косилки, мечтал, чтобы гостя поскорее убралась.

– Здорово, – встрял он, когда та на секунду смолкла. – Огромное спасибо. Может... кофе?

– Ой, нет-нет, благодарю! – Миссис Гивингс отскочила, словно ей предложили воспользоваться засморканным платком. Из безопасного удаления она послала деланую улыбку, показав все свои лошадиные зубы. – Пожалуйста, передайте Эйприл, что пьеса нам очень понравилась... нет, я сама скажу.

Вытянув шею, она сощурилась от солнца и, прикинув расстояние, какое надо преодолеть ее кличу, заголосила:

– Эйприл! Эй-при-ил! Я хотела сказать, что пьеса нам понравилась!

Через секунду косилка смолкла, и далекий голос Эйприл спросил:

– Что?

– Говорю, ПОНРАВИЛАСЬ! ПЬЕСА!

Услышав слабый отклик: «А-а... спасибо, Хелен!» – миссис Гивингс распустила лицо и повернулась к хозяину, который все еще неуклюже держал коробку.

– У вас ужасно талантливая жена. Не передать, какое мы с Говардом получили наслаждение.

– Что ж, приятно. Хотя общее мнение о спектакле не слишком высокое. В смысле, большинству не понравилось.

– О нет, очаровательная постановка! Правда, ваш приятель с Холма... мистер Крэндалл?.. не вполне подходит на роль, но в остальном...

– Кэмпбелл. Не думаю, что он был хуже других, да и роль очень трудная.

Фрэнк всегда чувствовал необходимость защитить друга от миссис Гивингс, которая считала, что все обитатели Революционного Холма заслуживают в лучшем случае тактичной снисходительности.

– Наверное, вы правы. Странно, что миссис Крэдалл... или как ее, Кэмпбелл?.. не играла. Хотя куда ей, с такой-то кучей детей.

– Она работала за кулисами. – Фрэнк старался развернуть коробку так, чтобы песок не тек или хотя бы тек в другое место. – И вообще, очень помогла во всем.

– Конечно, конечно, ведь она такая отзывчивая работяга! Что ж, не буду вас отвлекать.

Миссис Гивингс бочком двинулась к машине. Наступил момент для фразы «Ах да, еще одно, пока не забыла». Она звучала почти всегда, и это «еще одно» оказывалось тем, ради чего мадам приехала. Сейчас она была в явном замешательстве, говорить или нет, а потом лицо ее отразило решение: в данных обстоятельствах лучше не надо. Чем бы «еще одно» ни было, ему придется подождать.

– Ну ладно. Я просто в восторге от дорожки, которую вы сделали на лужайке.

– Спасибо. Вообще-то, я только начал.

– О, я понимаю, ведь это тяжелая работа.

Затем миссис Гивингс нежно пропела: «По-ка!» – забралась в «универсал» и укатила прочь.

– Мамочка, смотри, что у папы! – закричала Дженифер. – Это миссис Гивингс привезла!

– Цветы, – прокомментировал четырехлетний Майкл и уточнил: – Цветы, что ли?

Дети бежали по скошенной траве, а Эйприл, которая волокла за собой косилку и через оттопыренную губу сдувала с лица намокшие пряди, тяжело замыкала строй. С незнакомой прямолинейностью ее вид заявлял, что она всю жизнь

мечтала быть практичной домохозяйкой, а любовь в ее понимании – это когда муж хоть изредка подстригает траву, а не дрыхнет весь день напролет.

– Сыплется, пап, – подсказала Дженифер.

– Знаю. Помолчите секунду. Может, скажешь, что я должен делать с этой мурой? – спросил Фрэнк, не глядя на жену.

– Откуда я знаю? А что это?

– Хрен его знает. Какое-то молотило.

– Что?

– Нет, погоди. Оно вроде как молотило, только розовое вместо желтого. Или наоборот. Я думал, ты разбираешься.

– С чего ты взял? – Эйприл сощурилась на растение и потрогала его мясистый стебель. – Она не сказала, зачем это?

В памяти зиял провал.

– Сейчас... Оно зовется «охнарик»... Нет, «окурок»... точно, «окурок». – Фрэнк облизал губы и перехватил коробку. – Идеален для кислой почвы. Что-нибудь говорит?

Дети переводили выжидательный взгляд с одного родителя на другого, но в глазах Дженифер засветилась тревога.

Эйприл сунула руку в карман штанов.

– Для чего идеален? Ты что, даже не спросил у нее?

Растение в коробке затряслось.

– Слушай, не заводись. Я еще кофе не пил и...

– Отлично. И что я должна делать с этой хреновиной? А что сказать, когда увижусь с дарительницей?

– Говори что хочешь! Можешь посоветовать ей для разнообразия не приставать к людям!

– Папа, не кричи! – Дженифер в зазелененных кроссовках пританцовывала, всплескивала руками и готовилась заплакать.

– Я вовсе не кричу! – В голосе Фрэнка слышалось невероятное возмущение наветом.

Дочь притихла и сунула в рот большой палец; взор ее затуманился, а Майкл цапнул себя за ширинку и недоуменно попятился.

Вздыхнув, Эйприл отбросила с лица прядь.

– Ладно, снеси пока в погреб, что ли. Чтоб глаза не мозолило. И оденься. Пора обедать.

В погребе Фрэнк шваркнул коробку на пол и пинком отправил ее в угол, больно ушибив палец.

В старых армейских штанах и рваной рубаше он полдня трудился над устройством каменной дорожки. Идея была в том, чтобы соорудить длинную извилистую тропу от дороги к парадной двери и тем самым избавить гостей от необходимости входить в дом через кухню. Поначалу, в прошлые выходные, затея казалась нетрудной, но уклон пошел круче, и стало ясно, что плоские камни не годятся. Надо было выкладывать ступени, для чего понадобились валуны примерно равной толщины и ширины, которые приходилось выковыривать из лесистого обрыва за домом, а затем на трясущихся ногах переть с ними к лужайке. Каждая ступень требовала себе ямку, но сволочная земля была каменистой – чтобы углубиться на штык, уходило десять минут. Все это стало казаться бессмысленной и неблагодарной работой, от которой мгновенно устаешь, делаешься неловким и раздражительным, ибо результата не видно, а лишь кажется, что промучаешься все лето.

Однако, преодолев начальную одышку и головокружение, Фрэнк стал получать удовольствие от ноющих мышц, собственного пота и запаха земли. По крайней мере, это мужская работа. Присев на корточки передохнуть, с высоты лесного склона он видел свой дом, который выглядел так, как и надлежит выглядеть дому в чудный весенний денек, – на травяном ковре безмятежно расположилось хрупкое белое святилище, где обитают любовь, жена и дети. Жмурясь от значимости этой мысли, Фрэнк с приятнью поглядывал на свои худощавые ноги, напружинившиеся под старым хабэ, и свешенные с колен измазанные руки с набухшими венами (возможно, уступающие рукам отца, но тем не менее весьма умелые и сноровистые). Голова его гудела от натуги и ликования, когда он (мужик!) выворачивал камень из кишасей личинками норы и тот опрокидывался на вздрогнувшую гнилую листву и катился вниз по склону. Потом Фрэнк вновь приседал перед камнем и, закряхтев, взваливал его себе на колени, подтягивал к груди и укладывал в нежную колыбель рук; обогнув дом, белым пятном маячивший перед его остекленевшим взором, он выходил на солнцепек лужайки и, спотыкаясь на мягкой траве, брел к дорожке, где ронял камень, готовый и сам рухнуть сверху обессиленной кучей.

– Мы твои помощники, правда? – сказала Дженифер.

Они с Майклом сидели неподалеку на травке. Солнце золотило их светлые макушки, а майкам придавало ослепительную белизну.

– Правда.

– Ты же любишь, когда мы с тобой, да?

– Конечно, милая. Близо не подходите, а то завалите ямку.

Лопатой с длинным черенком он стал углублять яму, наслаждаясь ритмичным чирканьем лезвия о зарывшийся в землю камень.

– Пап, почему от лопаты искры летят? – спросил Майкл.

– Потому что она ударяется о камень. Если стукнуть железом по камню, высекается искра.

– Почему ты не выкопаешь камень?

– Это я и хочу сделать. Отойди, а то еще поранишься.

Наконец камень поддался; Фрэнк его вынул и, встав на колени, рукой выгреб песчаную мелочь из ямы, которая теперь стала нужной формы и глубины. Затем уложил и плотно прикопал валун – еще одна ступенька была готова. Перед глазами мельтешил прозрачный рой мошкар.

– Пап, почему мама спала на диване? – спросила Дженифер.

– Не знаю. Наверное, ей так захотелось. Сидите здесь, а я пойду за следующим камнем.

Бредя в лесок, Фрэнк поразмышлял над своим ответом и пришел к выводу, что это был лучший из возможных вариантов: и честно, и тактично. Просто ей так захотелось. Может, это была единственная причина? Разве когда-нибудь ее поступки имели другие мотивы – менее эгоистичные и более сложные?

– Я люблю тебя, когда ты милый, – однажды, еще до свадьбы, сказала она, чем привела его в ярость.

– Не говори так! Нельзя кого-то «любить» за то, что он «милый». Это все равно что сказать: «А что я буду с этого иметь?» – (Глубокой ночью они стояли посреди Шестой авеню; он отодвинул ее от себя, но крепко держал за талию, просунув руки в тепло ее верблюжьего пальто.) – Пойми, ты должна решить: любишь ты меня или нет.

Что ж, она решила. На Бетьюн-стрит было легко сделать выбор в пользу любви, в пользу того, чтобы гордо разгуливать голышом по испятнанной утренним солнцем квартире, где на полу циновки, а на стенах французские плакаты, приглашающие в путешествие, где самодельные стулья и книжный шкаф, сколоченный из планок ящиков, где половина прелести любовного романа в том, что он похож на супружество, а после визита в ратушу и церемонии сдачи ключей однокашниками половина прелести супружества в том, что оно похоже на любовный роман. Она решила в пользу всего этого. А почему нет? Ведь это была ее первая любовь, а другой она просто не знала. Даже с точки зрения практической выгоды все это имело неоспоримую привлекательность: она была

избавлена от жерновов разочарования, которых не миновала бы средних способностей и темперамента выпускница театральной школы; теперь же она могла мило изнывать на полставочной конторской службе («Это лишь пока муж не найдет работу по вкусу»), сберегая всю энергию для оживленных обсуждений книг, фильмов и чужих недостатков, для примерки новых причесок и моделей недорогой одежды («Тебе вправду нравятся эти сандалии или они чересчур богемные?») и для долгого неспешного возлежания в двуспальной кровати. Но даже тогда она была готова к немедленному бегству, была готова сорваться, если вдруг этого захочет или что-нибудь пойдет наперекосяк («Не смей так со мной разговаривать, иначе я уйду. Я не шучу»).

Серьезное осложнение не заставило себя ждать. Первая беременность Эйприл на семь лет опередила их план семьи из четырех человек. Знай Фрэнк жену лучше, он догадался бы, как она воспримет проблему и что надумает предпринять. Но он был в полном неведении, когда чадящим маршрутным автобусом они возвращались от врача. Эйприл смотрела в сторону, ее вскинутая голова говорила о том, что она потрясена, не верит в случившееся, злится, обвиняет – это могло быть и тем, и другим, и третьим, или всем вместе, или чем-то иным, поди знай. Прижатый к ней толпой, взмыленный Фрэнк, на лице которого застыла отважная улыбка, старался подобрать нужные слова, но в мозгу свербила только одна мысль: все как-то неправильно. Пусть новость о зачатии досадна, а не радостна, но ведь она касается обоих, правда? И не предполагает, что жена будет воротить морду, ведь так? Неправильно, если муж егозит и заискивает, сыплет шуточками и пожимает ей ручку, лишь бы вернуть ее внимание, словно боится, что при первом же серьезном жизненном затруднении она растает как дым. Так в чем дело, черт подери?

Все разъяснилось только через неделю, когда Фрэнк вернулся домой и увидел, что Эйприл, сложив руки на груди, с отсутствующим взглядом расхаживает по квартире, причем на лице ее застыло недвусмысленное выражение, означавшее, что она приняла кое-какое решение и не потерпит вздорных возражений.

– Выслушай меня, Фрэнк. Постарайся не перебивать и просто слушай.

Странно придушенным голосом она монотонно, словно текст был многожды отрепетирован без учета люфт-пауз, поведала о девушке из театральной школы, которая из собственного опыта знала абсолютно безотказный способ спровоцировать выкидыш. Проще некуда: дожидаясь конца третьего месяца, берешь стерилизованную клизму, немного кипяченой воды и очень осторожно...

Уже набирая в грудь воздух для ора, Фрэнк знал, что ему претит не сама идея (хотя, видит бог, в ней мало приятного), а то, что Эйприл все сделала тайком: разыскала эту девку, выведала способ, купила клизму и отрепетировала речь; о нем же если и вспоминали, то лишь как о возможной помехе в задумке, источнике нудных возражений, которые надо убрать, чтобы все прошло как по маслу. Вот что было нестерпимо, вот что придало его голосу гневную дрожь:

– Умоляю, не будь идиоткой! Что, хочешь угробить себя? И слушать не желаю!

Эйприл терпеливо вздохнула:

– Ладно, можешь не слушать. Я сказала лишь потому, что рассчитывала на твою помощь. Видимо, зря.

– Теперь ты слушай меня. Если ты это сделаешь... если ты... богом клянусь, я...

– Ты – что? Бросишь меня? Это угроза или награда?

Склока длилась всю ночь, они шипели, толкались, роняли стулья; скандал перетек в коридор и вылился на улицу («Пошел прочь! Отвали!»). Бойцов прибило к высокой сетчатой ограде береговой свалки, где схватка продолжалась до тех пор, пока публика в виде пьяного ханыги не заставила их поплестись домой. То ощущение страха и стыда Фрэнк помнил даже сейчас, когда привалился к стволу дерева, отгоняя надоедливую мошкарку. Его спасло то, что на другой день он победил; только благодаря этому сейчас он мог выкорчевать очередной камень, проследить за его кувырканием по склону и самому спуститься уверенной походкой человека, обладающего достоинством и самоуважением. На другой день Эйприл, рыдая в его объятиях, позволила себя отговорить.

– Знаю, знаю, ты прав, – шептала она, прижавшись к его груди. – Прости меня. Я тебя люблю. Мы назовем его Фрэнк, он поступит в университет, у него все будет. Я обещаю, обещаю.

Сейчас казалось, что никогда уже не было столь убедительного доказательства (если вообще оно требовалось) его самости: он обнимал укрощенную, покорную девушку, которая обещала выносить его ребенка, и приговаривал: «Милая моя,

хорошая». Приседая от тяжести, Фрэнк оттащил камень к дорожке, сбросил ношу и, отерев в кровь сбитые руки, вновь взялся за лопату; крики и щебетание детей изводили, точно комариное зуденье.

«А ведь я не хотел ребенка, – думал он, ритмично втыкая лопату в землю. – Вот что самое паршивое. Он был нужен мне ничуть не больше, чем ей». Может, именно с тех пор все в его жизни стало чередой того, что на самом-то деле ему было не нужно? Сначала поступил на безнадежно скучную работу, чтобы доказать свою ответственность семьянина; затем переехал в непомерно дорогую стильную квартиру, дабы проявить свою зрелую веру в основополагающую роль упорядоченности и достатка; потом завел второго ребенка – как свидетельство того, что рождение первого не было ошибкой; далее купил дом в провинции, потому что это было следующим логическим шагом, и он доказал себе, что способен его предпринять. Он все время что-то доказывал и лишь по этой причине был женат на женщине, которая как-то умудрилась загнать его в вечную оборону, любила его лишь хорошим, жила по своим прихотям и, что самое противное, в любое время дня или ночи могла вдруг бросить его. Вот так все просто и нелепо.

– Пап, ты опять бьешь по камню?

– Нет, теперь корень попался. Думаю, сойдет, он глубоко. Отойдите-ка, я уложу камень.

Встав на колени, Фрэнк перевалил камень на место, но тот не лег – шатался и выпирал дюйма на три.

– Неровно, пап.

– Вижу, малыш. – Кряхтя, Фрэнк вытащил камень обратно и попытался лопатой обрубить корень. Но было несподручно, и древесный хвост оказалась прочным, как хрящ. – Милая, я же просил близко не подходить. Ты сыплешь землю.

– Я же помогаю тебе, пап.

На лице Дженифер обозначились удивление и обида; похоже, она собралась заплакать. Фрэнк постарался, чтобы голос его звучал тихо и мягко:

– Слушайте, ребятки, шли бы вы играть в другое место. В вашем распоряжении весь двор. Ну, давайте. Понадобится помощь, я вас кликну, лады?

Но через минуту дети вернулись и, тихонько переговариваясь, опять сели слишком близко. От натуги кружилась голова, пот ел глаза, когда Фрэнк расставил ноги над ямой и, ухватив лопату, как лом, принялся долбить по корню. Разверзлась рана, обнажив белую сочную мякоть, но жилистая змеюка не поддавалась, и ребятишки хихикали каждый раз при звонком отскоке лопаты. Колокольчики смеха, нежная, как лепестки тюльпана, кожа, золотистые головенки, хрупкие, словно яичная скорлупа, составляли жуткий контраст с железом, вгрызавшимся в пружинистую плоть. Именно это и сыграло злую шутку со зрением Фрэнка: когда в очередной раз лезвие ринулось вниз, на долю секунды показалось, что в яме мелькнула белая кроссовка Майкла. Едва звякнула отброшенная лопата, Фрэнк понял, что ничего не было (но могло быть, вот в чем штука!), однако бешенство заполонило его мгновенно; когда он сграбастал сына за ремень, развернул к себе спиной и что есть мочи ладонью дважды врезал по маленькой заднице, его изумили собственная рьяность и оглушительный рев: «Пошли вон! Кому сказано!»

Обеими руками держась за попку, Майкл боком отскочил в сторону; горе его было так внезапно и глубоко, что после первого потрясенного взвизга он пару секунд не мог издать ни звука. Глаза его зажмурились, рот перекосялся и застыл в попытке глотнуть воздух, а потом из него вырвался долгий пронзительный вой боли и унижения. Дженифер вытаращилась на брата и судорожно вздохнула, лицо ее задергалось, сморщилось, и она тоже заплакала.

– Язык уж устал повторять! – размахивал руками Фрэнк. – Сказано было: не подходить, иначе нарветесь! Говорил я вам? Говорил? Все, убирайтесь отсюда! Оба!

Понукать не требовалось. В слезах дети побрели прочь, бросая на отца взгляды, в которых читался безграничный укор. Фрэнк был готов кинуться следом и просить прощения, он сам едва не плакал, но заставил себя взять лопату и вновь долбануть по корню. Мозг его беспокойно сочинял оправдания и услужливо подтасовывал факты: «Черт, я же десять раз предупредил! Надо же, сунулся прямо под лопату! Еще чуть-чуть, и, ей-богу, остался бы без ноги...»

Обернувшись, он увидел, что из кухни вышла Эйприл; дети к ней подбежали и ткнулись мордашками в ее колени.

Затем наступило воскресенье, и гостиная погрузилась в глубокое, шуршащее газетами оцепенение; казалось, минул год с тех пор, как Фрэнк Уилер и его жена последний раз перекинулись словом. Эйприл одна отправилась на второе, и последнее, представление «Окаменевшего леса», после чего опять вздремнула на диване.

Фрэнк ерзал в кресле, проглядывая журнальное приложение «Таймс», дети тихонько играли в углу, а Эйприл на кухне мыла посуду. Фрэнк отложил неоднократно пролистанный журнал, а потом снова открыл его на притягательном развороте, где под заголовком, сулящим «платье, которое в любой обстановке выгодно подчеркнет вашу женственность», разместились эффектная фотография высокой надменной девицы с неожиданно богатыми для манекенщицы формами. Вначале показалось, что она слегка смахивает на его коллегу Морин Груб, но потом Фрэнк решил, что журнальная дива симпатичнее и, наверное, умнее. Однако сходство определенно имелось, и, пока он разглядывал выгодно подчеркнутую женственность, мысли его соскользнули к одному эротическому эпизоду. На последней рождественской вечеринке Фрэнк, не такой уж пьяный, каким прикидывался, зажал Морин Груб у картотечного шкафа и долго взасос целовал.

Обругав себя, Фрэнк бросил журнал на ковер и прикурил сигарету, забыв, что в пепельнице одна уже дымится. Наверное, лишь потому, что день был погожий, дети не шумели, а ссора еще на сутки отошла в прошлое, он отправился в кухню, где Эйприл склонилась над раковиной, полной мыльной воды, и ухватил жену за локти.

– Знаешь, мне все равно, кто прав, кто виноват, и плевать я хотел на весь этот сыр-бор, – прошептал Фрэнк. – Давай закончим с обидами и будем вести себя по-человечески, а?

– То есть до следующего раза? Притворимся, что у нас тишь да гладь? Нет уж, спасибо. Я устала от таких игр.

- Сама-то понимаешь, как неправа? Чего ты от меня хочешь?
- Чтобы ты убрал руки и сбавил тон, пока больше ничего.
- Можно вопрос? Не скажешь, чего ты добиваешься?
- Конечно скажу. Чтобы мне дали вымыть посуду.
- Папочка, - позвала Дженифер, когда Фрэнк вернулся в гостиную.
- Что?
- Почитай нам комиксы, пожалуйста.

От робкой просьбы и доверчивых детских глаз Фрэнк чуть не расплакался.

- Конечно, милая. Давайте втроем усядемся, и я вам почитаю.

Дети уложили головенки ему на грудь, забросили на него худенькие теплые ножки, и Фрэнк стал читать, одолевая слезливую поволоку голоса. Они умели прощать и были готовы принять его хорошим и плохим, они любили его. Почему же Эйприл не понимает, как это необходимо и просто - любить? Зачем она все усложняет?

Единственная неприятность была в том, что комиксы оказались бесконечными. Одну за другой Фрэнк переворачивал плотные замусоленные страницы, но к завершению работы ничуть не приблизился. Вскоре его чтение обрело надсадность и торопливую монотонность, а правая коленка нетерпеливо заплясала.

- Пап, мы проскочили один комикс.
- Нет, милая, это просто реклама. Она неинтересная.
- Мне интересно.

– Мне тоже.

– Но это не комикс. Просто картинки похожи. Реклама зубной пасты.

– Все равно читай.

Фрэнк стиснул челюсти. Казалось, все зубные нервы переплелись в зудящий клубок с теми, что в корнях волос.

– Хорошо, – выдавил Фрэнк. – Вот, на первой картинке эта тетенька хочет потанцевать с этим дяденькой, а он ее не приглашает. Здесь она плачет, а подруга говорит: наверное, дело в том, что у нее плохо пахнет изо рта. На этой картинке тетенька обращается к дантисту, и тот...

Фрэнк чувствовал, что беспомощно погружается в диванные подушки, страницы и детские тела, словно в зыбучий песок. Наконец комиксы закончились, он с трудом поднялся и несколько минут стоял посреди комнаты, отдуваясь, сжимая в карманах кулаки и борясь с единственно искренним желанием засандалить стулом в венецианское окно.

Что же это за жизнь такая! Пусть кто-нибудь, бога ради, объяснит, в чем суть, смысл и цель подобного существования?

Наступил вечер, и ословевший от пива Фрэнк с нетерпением ждал прихода Кэмпбеллов. Обычно их визит угнетал («Отчего мы не встречаемся с кем-то еще? Ты понимаешь, что практически они – единственные наши друзья?»), но сегодня вселял определенную надежду. По крайней мере, жена будет вынуждена смеяться и поддерживать беседу, временами одаривать его улыбкой и называть «дорогой». Спору нет, в обществе Кэмпбеллов в них обоих проявлялось все самое лучшее.

– Привет!

– Привет!.. Привет!..

Сей короткий радостный возглас, рожденный в сгущавшихся сумерках и двойным эхом вернувшийся от дома Уилеров, был традиционным герольдом вечернего увеселения. За ним последовали рукопожатия, смачные чмокания и притворные стоны, говорившие о том, что в поиске сего оазиса путники совершили долгий изнурительный переход по раскаленным пескам и отказали себе в живительном глотке ради надежды на здешнее облегчение. В гостиной после мимической пантомимы, передавшей наслаждение от первых глотков из запотевших стаканов, они на секунду сошлись вместе, чтобы выразить обоюдное восхищение, а затем каждый принял свою умеренно расхристанную позу.

Милли Кэмпбелл сбросила туфли и устроилась среди диванных подушек, подобрав под себя ноги; ее запрокинутое лицо лучилось добродушной улыбкой, говорившей: возможно, я не первая красавица на свете, зато мила, резва и весела.

Фрэнк сел рядом с диваном на пол, и его согнутые ноги оказались вровень с его головой. Взгляд его уже светился готовностью к беседе, а тонкие губы насмешливо вытянулись трубочкой, словно во рту он катал горьковатый леденец.

Здоровяк Шеп, надежный буфер компании, широко расставил толстые ноги и узловатыми пальцами ослабил галстук, приготовившись к взрывам смеха.

Последней уюстилась Эйприл; ее элегантно небрежная поза – голова откинута на спинку парусинового складного кресла – позволяла грустно пускать в потолок благородные кольца табачного дыма. Все были готовы.

К всеобщему радостному удивлению, с деликатной темой спектакля разделались быстро. Обсуждение ограничилось коротким обменом репликами, усмешками и неодобрительным покачиванием головы. Милли уверяла, что второй спектакль прошел гораздо лучше:

– По крайней мере, публика была более... благожелательной, что ли. Как ты считаешь, милый?

Лично он чертовски рад, что вся эта бодяга закончилась, ответил Шеп, и обеспокоенные взгляды обратились на Эйприл, которая улыбкой сняла неловкость:

– Родилось присловье: «Все равно это классная потеха». Просто ужас, как часто вчера оно звучало. Я его слышала, наверное, раз пятьдесят.

Через минуту разговор перескочил на детские хвори (старший сын Кэмпбеллов не добирал веса, и Милли боялась, что у него скрытое заболевание крови, но Шеп говорил, что недуг, каким бы он ни был, не ослабил парню бросок), потом все согласились, что начальная школа прекрасно справляется со своей задачей, если учесть реакционность оседлавшего ее правления, а затем обсудили непостижимо высокие цены в супермаркете. И лишь во время пространного доклада Милли о бараньих отбивных в комнате возник почти осязаемый дискомфорт. Собеседники ерзали и старательно заполняли неловкие паузы любезностями об освежающем воздействии напитков, но все избегали смотреть друг другу в глаза, изо всех сил стараясь уйти от тревожного неоспоримого факта, что говорить-то не о чем. Прежде такого не случалось.

Два года и даже год назад подобная ситуация была немыслима, ибо всегда оставалась тема непотребного состояния нации. «Как вам нравится это дело Оппенгеймера[9 - Оппенгеймер, Роберт (1904–1967) – выдающийся американский физик, получивший прозвище «отец атомной бомбы»; выступал за международный контроль над атомной энергией и против создания водородной бомбы. В 1953 г. попал под подозрение комиссии Маккарти и был обвинен в государственной измене и сотрудничестве с коммунистами.]]?» – спрашивал кто-нибудь, и все остальные с революционным рвением жаждали получить слово. После второго или третьего стакана и обсуждения темы сенатора Маккарти[10 - Маккарти, Джозеф (1908–1957) – политический деятель, сенатор. В 1952 г. возглавил кампанию по изобличению «подрывных элементов», в результате которой многие известные деятели потеряли работу. «Эпоха маккартизма» осталась в истории США периодом торжества мракобесия и подозрительности, отката от демократических ценностей.], раковой опухоли в теле Соединенных Штатов, они чувствовали себя малочисленным, но готовым к бою интеллектуальным подпольем. Кто-нибудь вслух зачитывал вырезки из «Обсервера» или «Манчестер гардиан», остальные уважительно кивали; тоскливый вздох Фрэнка: «Господи, если б мы уехали в Европу, когда была такая возможность!» – немедленно вызывал общее желание эмигрировать: «Давайте все уедем!» (Однажды дело дошло до конкретного подсчета, во что обойдутся проезд паромом, жилье и обучение детей, но после отвесляющего кофе Шеп поделился вычитанными сведениями: за границей трудно получить работу.)

Когда политика надоедала, оставались мимолетные, но чрезвычайно увлекательные темы: «Соглашательство», «Провинция», «Мэдисон-авеню»[11 - Мэдисон-авеню – проспект в Нью-Йорке, символ торговой рекламы и дорогих магазинов.], «Нынешнее американское общество».

– Вы знаете нашего соседа Дональдсона? – начинал Шеп. – Ну того, что вечно трещит электрокосилкой и треплется о жестокой конкуренции и ненавязчивой рекламе? Знаете, как он назвал свой мангал?

Далее шла история о жуткой провинциальной тупости, и все помирали со смеху.

– Не верю! – покатывалась Эйприл. – Неужели и вправду они так изъясняются?

Фрэнк развивал тему:

– Все было бы не так страшно, если б не было так типично. Речь не только о Дональдсонах, здесь и Креймеры, и... эти, как их... Уингейты, и миллионы других, и все идиоты, с кем я каждый день езжу в поезде. Это зараза. Никто не думает, не чувствует, всем на все наплевать, ничто никого не волнует, никто ни во что не верит, кроме своей удобной скотской заурядности.

Милли Кэмпбелл от удовольствия ежилась:

– Как это верно! Правда, милый?

Все радостно соглашались, подразумевая, что лишь они четверо еще мучительно живы в этой одурманенной и умирающей культуре. Именно в условиях этого противостояния робким ответом на их одиночество впервые возникла тема «Лауреатов». Новость принесла Милли: по ту сторону Холма она встретила каких-то знакомых, которые пытаются создать театр. Если б удалось пробудить общественный интерес, они пригласили бы нью-йоркского режиссера, чтобы ставить серьезные пьесы. «До этого вряд ли дойдет, – сказала Милли и смущенно прибавила: – Но все-таки забавно, нет?» Поначалу Эйприл была категорична: «Господи, да знаю я эти любительские шарашки! Будет дама с синими волосами и деревянными бусами, раз видевшая Макса Рейнхардта»[12 - Макс Рейнхардт (наст. фамилия Гольдман, 1873–1943) – немецкий актер и режиссер, экспериментатор в области театральной формы, новых выразительных средств; в 1933 г. эмигрировал из Германии, умер в США.], пара-

тройка голубоватых юношей и полдюжины прыщавых девиц». Но потом в местной газете пару раз мелькнуло заманчивое объявление: «Приглашаем актеров...», а затем на вечеринке, которая иначе была бы скучной, Уилеры встретили тех энтузиастов и должны были признать, что все это, по выражению Эйприл, «без дураков». В рождественские праздники увидев режиссера, они согласились, что тот выглядит человеком, который знает, что делает, а уже через месяц все четверо были ярыми участниками предприятия. Даже Фрэнк, который не стал пробоваться на роль («Актер из меня паршивый!»), но сочинил и размножил в своей конторе рекламные листовки; он же весьма оптимистично говорил о социальных и философских перспективах всей этой затеи. Если удастся создать по-настоящему хороший и серьезный театр, это станет шагом в верном направлении, ведь так? Конечно, вряд ли получится растормозить Дональдсонов, да это и не нужно, но, по крайней мере, можно этих самых Дональдсонов притормозить и показать им, что есть другая жизнь – без ежедневного поезда, Республиканской партии и «мандала». В любом случае мы только выиграем.

Но они проиграли. Вину за провал «Лауреатов» не припишешь «Соглашательству», «Провинции» и «Нынешнему американскому обществу». Как теперь подшучивать над соседями, когда эти самые соседи парились в зрительном зале? Дональдсоны, Креймеры, Уингейты и все остальные, кто с открытой душой пришел на спектакль и был разочарован.

Сейчас Милли завела разговор о саде, о том, как трудно на их земле выпестовать хороший газон, но взгляд ее панически стекленел. Уже больше десяти минут в гостиной звучал только ее голос, а она все говорила и говорила. Милли прекрасно сознавала всю неприличность своей болтовни, но понимала и то, что, если остановится, дом нырнет в толщу молчания и она захлебнется в невероятно глубоком, безбрежном пруду тишины.

Фрэнк бросился на выручку:

– Кстати, Милли, хотел тебя спросить – ты не знаешь, что такое «окур»? Или «охнарик»? Растение такое...

– Окур... – повторила Милли, изображая раздумье; лицо ее оттаяло и благодарно зарумянилось. – Так с ходу не скажу, Фрэнк. Дома гляну в справочнике, у нас есть.

– Да это не так важно, – сказал Фрэнк. – Просто вчера миссис Гивингс прилетела как бешеная с огромной коробкой, где...

– Миссис Гивингс? – вскинулась Милли, словно наконец что-то вспомнила. – Господи, я же вам не рассказывала! Кажется, и тебе не говорила, да, милый? Это что-то невероятное!

Вновь начался ее монолог, но уже совсем по-иному – теперь все ее слушали. Нетерпение в голосе и суетливость, с какой рассказчица натягивала юбку на морщинистые коленки, оживили во всех надежду на свежую тему, а Милли смаковала внимание слушателей, стараясь по возможности оттянуть кульминацию. Прежде всего, известно ли дорогим хозяевам, что у Гивингсов есть сын?

Радуюсь проволо?чке, Милли загадочно качала головой, пока Эйприл и Фрэнк вспоминали о тощем моряке, ухмылявшемся им с фотографии на каминной полке, когда однажды миссис Гивингс пригласила их отобедать. Сына зовут Джон, поведала она, мальчик ненавидит морскую службу, блестяще окончил Массачусетский технологический институт, а ныне успешно преподает математику в каком-то западном университете.

– Так вот, никакую математику он уже не преподает, и на Западе его тоже нет, – сообщила Милли. – Знаете, где он? И вообще, где он был два последних месяца? Здесь, в Гринакре. – Оглядев озадаченных слушателей, она добавила: – Он в больнице. В сумасшедшем доме.

Совсем как в былые времена, все заговорили разом, сгрудившись в тумане сигаретного дыма. Ничего себе! Ну и дела! Это ж надо! Может, какая-то путаница?

Никакой путаницы, будьте уверены.

– Мало того, он не просто лег в больницу. Его привезла полиция.

Все это Милли узнала только вчера – в торговом центре встретила миссис Макреди, приходящую домработницу Гивингсов, которая даже не поверила, что Милли ничего еще не слышала.

– Поди уж каждая собака знает, так она выразилась. В общем, парень давно был не в себе. Родители совсем вытряслись, оплачивая частный санаторий в Калифорнии. Он там с месяц полежит, потом выпишется, маленько поработает и снова ложится. Какое-то время все шло нормально, и вдруг он бросил работу и исчез. А потом нежданно-негаданно объявился здесь, ворвался к родителям и три дня продержал их в плену. – Милли смущенно хихикнула, почувствовав фальшивую мелодраматичность «плена». – Это миссис Макреди так сказала. Он был безоружен, но запугал стариков чуть не до смерти. Особенно мистера Гивингса – у того и возраст, и сердце шалит. Стало быть, парень запер двери, обрезал телефон и заявил, что не уйдет, пока не получит то, за чем пришел. А что это – не говорит. Потом вдруг объявил, что ему нужно свидетельство о рождении. Родители перерыли весь бумажный хлам, нашли метрику, а он ее взял и порвал. Значит, дальше парень бродит по дому и все чего-то говорит, говорит – наверное, бредил, – а потом стал все крушить: мебель, картины, тарелки – что под руку попадет. В разгар этой катавасии появляется миссис Макреди, которая пришла на работу, так он до кучи запер и ее – вот откуда она все знает, – и бедняжка промыкалась там часов десять, прежде чем сумела выбраться через гараж. Вызвала полицию, те приехали и отвезли горемыку в психушку.

– Господи! – вздохнула Эйприл. – Полиция... Ужас-то какой...

Все мрачно покивали.

Попытку Шепа усомниться в достоверности сведений домработницы («Может, это лишь бабьи сплетни...») зашикали: бабьи не бабьи, а дыма без огня не бывает.

Слишком частые и вроде бесцельные визиты миссис Гивингс теперь обрели смысл.

– Странная штука, я чувствовала – ей что-то нужно, – сказала Эйприл. – Будто она хочет о чем-то рассказать, но не решается... Тебе так не показалось? – (Она адресовала вопрос мужу, избегая его взгляда и не добавив «Фрэнк» или «дорогой», что вселило бы надежду в его сердце. «Вроде да», – буркнул он.) – Ой, как нехорошо. Ведь ей ужасно хотелось поговорить, выяснить, что нам известно, и вообще...

Совершенно расслабившись, Милли хотела обсудить вопрос по-женски. Каково же матери, когда ее сын повредился в уме? Шеп на стуле подъехал к Фрэнку и, отгородившись от дам, собрался прямо и трезво взглянуть на ситуацию с практической стороны. Что за дела? Как это можно вот так, силком, упечь кого-то в дурдом? Неувязочка с юридической точки зрения, а?

Фрэнк понял: если пустить дело на самотек, возбуждение от темы скоро угаснет, и тогда вечер превратится в наихудшую разновидность провинциальных посиделок, какие устраивают Дональдсоны, Уингейты и Креймеры: женщины в своем кругу обсуждают рецепты и наряды, мужчины говорят о работе и машинах. Еще минута, и Шеп спросит: «Как там на службе?» – словно Фрэнк тысячу раз не объяснял, что работа занимает ничтожную часть его жизни и должна упоминаться лишь в ироническом ключе. Пора было действовать.

Фрэнк хорошенько глотнул из стакана и заговорил громко, давая понять, что обращается ко всем. Эта история, сказал он, прекрасная иллюстрация того, в какое время и в какой стране мы живем. Шум-гам, легавые скрутили человека, однако на всех газонах вертятся поливалки и в каждой гостиной бубнят телики. Единственный сын теряет рассудок, уготовив родным невероятные страдания от горя и вины, однако мать хлопчет в комиссии по зонированию, весело щебечет с соседями и одаривает знакомых коробками с рассадой.

– Я говорю об упадке, – заявил Фрэнк. – Где же предел разложения общества? Вы только вдумайтесь: наша страна – мировой центр психиатрии и психоанализа. Старина Фрейд даже помыслить не мог о такой своре преданных последователей, как население Соединенных Штатов. Разве нет? Вся наша чертова культура связана с психоанализом – этой новой религией, всеобщей интеллектуальной и духовной соской. Но что происходит, когда у человека действительно сносит крышу? Вызывают полицию, чтобы его скоренько с глаз долой и под замок, пока не перебудил соседей. Видит бог, когда дело касается чего-то серьезного, мы всё еще в средневековье. Все будто сговорились жить в самообмане. Черт с ней, с реальностью! Давайте понастроим извилистые дорожки и разноцветные домики, станем хорошими потребителями; главное, чтоб побольше сплоченности, а деток наших выведем в корыте сентиментальности: мол, папочка – грандиозный мужчина, ибо зарабатывает на жизнь, а мамочка – великая женщина, ибо служит ему верной опорой; ну а если вдруг старуха-реальность вылезет и скажет: «У-у-у!» – чур, мы в домике, знать ничего не знаем.

Обычно подобные тирады вызывали бурное одобрение или хотя бы возглас Милли «Ах, как это верно!». Нынешняя действия не возымела. Троица вежливо его выслушала, а потом чуть заметно вздохнула, точно школьники по окончании урока.

Фрэнку ничего не оставалось, как собрать стаканы и удалиться в кухню, где он принялся сердито выколачивать лед из решетки. В темном окне четко отражалось его ненавистное круглое лицо слабака. Тут он кое-что вспомнил; казалось, эту мысль, которая вначале ошарашила, а затем наполнила закономерной иронией, породила ошалелость в глазах стеклянного двойника. Зеркальное лицо будто предвосхищало настроение оригинала: испуг сменился горькой усмешкой и покачиванием головы. Фрэнк захлопотал с выпивкой, чтобы поскорее вернуться к компании. Что бы там ни было, теперь есть пища для беседы.

– Сейчас мне шарахнуло, – объявил Фрэнк; все подняли головы. – Завтра мой день рождения.

– Ой-ой-ой! – в унисон вяло ахнули Кэмпбеллы.

– Тридцатник. Даже не верится.

– Ни фиги, мне верится, – сказал Шеп, которому было тридцать два, а тридцатичетырехлетняя Милли стала увлеченно стряхивать пепел с юбки.

– Я к тому, что как-то странно: вдруг тебе уже не двадцать с хвостиком. – Фрэнк устроился на диване. – Словно закончилась какая-то эпоха, не знаю.

Он пьянел, он уже был пьяным и понимал, что сейчас из него попрут несусветные глупости и повторы, отчего стал еще болтливее.

– Вот удивительно: все дни рождения сбиваются в кучу, но один я помню хорошо – тогда мне стукнуло двадцать.

Фрэнк стал рассказывать про последнюю неделю войны: в тот день минометный и пулеметный огонь пришили к земле. Маленькая трезвая доля сознания понимала, зачем он это делает: байки об армии и войне не раз были последним

средством спасения вечера с Кэмпбеллами. Шеп невероятно любил эти рассказы, а дамы смеялись невпопад и шутливо уверяли, что им ввек не постичь мужских интересов и привязанностей, но лица их озарялись романтическим светом. За всю их дружбу самым памятным был вечер, когда апофеозом целой серии лихих армейских баек стала солдатская песня. В три часа ночи взмокшие Шеп Кэмпбелл и Фрэнк Уилер, млея от сонного восхищения жен, хохотали и, кулаками отбивая на столике маршевый ритм, горланили во всю мочь:

Э-э-эх!

Ать-двать, твою мать,

Кого черт несеть?

Трень-брень, набекрень,

Пехтура идеть...

И теперь, в слегка ерническом стиле, который за годы обрели его армейские воспоминания, Фрэнк вновь старательно рассказывал байку. Лишь когда он добрался до фразы: «...и я, значит, пихаю парня, что лежит рядом, и спрашиваю: „А какое сегодня число?“», ему стало неловко, но было уже поздно. Оставалось только закончить: «Выяснилось, что нынче мой день рожденья». Фрэнк вспомнил, что уже рассказывал эту историю, причем в той же манере, и было это ровно год назад.

Гости вежливо хмыкнули, Шеп украдкой посмотрел на часы. Но хуже всего, самым паршивым за эти два дня, если не за всю жизнь, был взгляд Эйприл. Никогда еще в нем не читалась такая жалостливая скука.

Этот взгляд снился всю одинокую ночь и преследовал утром, когда Фрэнк, заглотив кофе, сдавал назад старый битый «форд», в котором ездил на станцию. В поезде он, один из самых молодых и здоровых пассажиров, выглядел человеком, приговоренным к очень медленной безболезненной смерти. Фрэнк чувствовал себя стариком.

Архитекторы Нокс-билдинг не тратили время на то, чтобы дом казался выше своих двадцати этажей, и потому он выглядел ниже. Зодчие не удосужились придать ему красоту, и он смотрелся уродцем: прямоугольная коробка с плоской крышей и узким зеленым карнизом, выступающим, точно губа наковальни. Дом расположился в довольно унылой части Манхэттена, и с самого дня его пышного открытия на заре века судьба предназначала ему утвердиться в прокопченной неразберихе прямоугольных форм, из которой вздымаются мощные нью-йоркские башни, хорошо видимые на снимках с воздуха.

Вопреки всей своей неказистости, Нокс-билдинг буквально дышал здравомыслием. Лишенный великолепия, он обладал массивностью, в нем отсутствовала героика, зато не было фривольности; здание воплощало собой бизнес.

– Вот этот дом, Фрэнк, – сказал Эрл Уилер; было летнее утро 1935 года. – Вон, прямо. Головная контора. Дай-ка руку, здесь плохой переход...

Эта единственная поездка с отцом в Нью-Йорк стала кульминацией взволнованных недель, вспоминавшихся потом как единственное время, когда отец казался веселым. В его обеденных разговорах наряду с «Нью-Йорком» и «головной конторой» часто и радостно всплывали загадочные слова «Оут Филдс», после которых мать непременно восклицала «О, это замечательно, Эрл!» или «О, я так рада!». В конце концов Фрэнк понял, что таинственная фраза не имеет никакого отношения к «Квакер оутс[13 - «Квакер оутс» – товарный знак овсяных хлопьев.]», но означает имя человека – мистер Оут Филдс, – примечательного не только своими размерами («один из самых больших людей в головной конторе»), но и прозорливостью. Фрэнк не забивал себе голову лишней информацией, пока мать не ошарашила новостью: узнав, что мистер Эрл Уилер имеет десятилетнего сына, мистер Оут Филдс приглашает юношу сопровождать отца в его посещении головной конторы. Отец и сын будут гостями мистера Филдса на дневной трапезе (впервые мать так назвала обед), после чего он поведет их на стадион «Янки», где состоится бейсбольный матч. В последующие дни взволнованное ожидание стало невыносимым, а в утро поездки грозило все испортить: от напряжения и поездной качки Фрэнк едва не расстался с завтраком, та же опасность возникла в такси, которое вовремя покинули, пройдя последние кварталы пешком; на свежем воздухе в голове прояснилось, отчего стало казаться, что все будет превосходно.

– Ну так, – сказал отец, когда они перешли улицу. – Вот парикмахерская, где сейчас мы с тобой пострижемся, а вот метро – видишь, его вход встроено в здание. А вот здесь, посмотри, выставочный зал с витринами во всю длину здания. Не то что наш зальчик, верно? Тут представлено кое-что из наших изделий. Вот тебе пишущие машинки, всякие арифмометры и регистраторы, а вон в уголке новая бухгалтерская машина; теперь посмотри в следующую витрину: вот тебе перфораторы. Большая штукавина – табулятор, а поменьше – сортировщик. Когда видишь малышку в работе – это что-то! Берешь перфокарты, складываешь в стопку и вставляешь в машину; потом нажимаешь кнопку, и милашки вылетают как бешеные!

Однако взгляд Фрэнка съезжал на собственное отражение в витринном стекле. В новом костюме и галстук, почти таком же, как у отца, он казался себе удивительно величавым; было приятно видеть отражения мужчины и мальчика, за спинами которых улица кишела нескончаемой толпой прохожих. Фрэнк попятился и запрокинул голову – аж загривком уперся в воротник пиджака. Ух ты! Чего скрывать, он мечтал увидеть небоскреб, но это зрелище стерло последние следы дорожных огорчений. Окна ярусами уходили все выше и выше, становясь меньше и короче, а в самой вышине все подоконники и переплеты сливались друг с другом. Представь, навернешься с верхотуры! Потом вдруг он увидел, что далекий-далекий карниз движется вперед... Дом валится! Не успев испугаться, Фрэнк понял свою ошибку: двигалось небо, над выступом крыши плыли белые облака; когда мозг совладал с этим фактом, по спине побежали мурашки от чудовищной гранитной силы и неподвижности дома. Вот это да!

– Ну что, ты готов? – спросил отец. – Давай-ка сперва причипуримся, а потом в лифте поедим на самый верх.

В дальнейшем выяснилось, что предвкушающее топтанье на тротуаре было лучшим моментом дня. Парикмахерская и гулкий мраморный вестибюль, где пахло сигарами, мокрыми зонтиками и духами, произвели неплохое впечатление, но затем радость дня стала неуклонно угасать. Во-первых, лифт одарил не ощущением полета, но чувством западни и тошноты. Верхний этаж конторы запомнился морем белых ламп и тощей дамой, чья ажурная блузка предъявляла немыслимое число бретелек, которые явно крепили исподнее. Называя Фрэнка «сынок», она познакомила его с работой питьевого фонтанчика («Смотри, сынок: я нажимаю кнопочку, и всплывает большой пузырь – бумц! Здорово, правда? Хочешь сам попробовать?»). Фрэнк никогда не забудет отвращение, мгновенно возникшее при виде мистера Оута Филдса – если не

самого большого, то наверняка самого жирного человека на свете. Очки толстяка отражали звезды конторских ламп и скрывали его глаза, когда он громогласно заговорил с Фрэнком, не слушая ответов:

– Ох ты, какой большой парень! Как зовут? Мм? Учишься хорошо? Молодец! Бейсбол любишь? Мм?

Самым неприятным в нем был рот, такой мокрый, что между шевелящимися губами натягивались блестящие нити слюны; именно это, да и все остальное в облике мистера Оута Филдса не позволило Фрэнку насладиться обедом, то есть трапезой, имевшей место в ресторане огромного отеля. Оут Филдс чавкал и оставлял жирные следы губ на стакане с водой. Макнув хрустящий рогалик в соусник, он потащил его в рот и обляпал жилет ярко-рыжей подливкой.

– Вы абсолютно правы, Оут, – беспрестанно повторял отец. – Разумеется, я с вами согласен.

Несколько раз Фрэнк ловил на себе его испуганный взгляд, словно отца удивляло присутствие сына. Бейсбольный матч тоже разочаровал: никто не сделал круговой пробежки, которая, по мнению Фрэнка, слабо разбиравшегося в правилах, была смыслом игры. Весь последний период болела голова от бившего в глаза солнца и хотелось в уборную, но он не решался поднять сию тему. Затем еще была мука грязной подземки, которой добирались на Пенсильванский вокзал, и сердитый выговор отца за то, что Фрэнк не сказал Оуту Филдсу «Спасибо за прекрасный день». Они ждали, когда откроют выход на платформу, и Фрэнк исподтишка разглядывал измученное усталостью и моральным унижением отцовское лицо, в тусклом освещении перронного навеса казавшееся обрюзгшим, рыхлым и очень старым. Потом он опустил взгляд и заметил, что отцова штанина слегка подрагивает от движений спрятанной в карман руки, которой отец беспокойно почесывал промежность.

Позже этот эпизод станет единственным ярким воспоминанием о том дне, но вечером, когда Фрэнк босиком пробрался в скособоченный и странно съезжившийся сортир, неудержимые рвотные спазмы вызвало видение жующего рта Оута Филдса.

Лишь годы спустя из обрывочных сцен сложилась целая картинка. Заместитель управляющего ньюаркским отделением Эрл Уилер, уберегшийся от всех

увольнений и сокращений в годы Великой депрессии, чем-то привлек внимание головной конторы как кандидат на должность первого помощника Оута Филдса. (Столь же не скоро получило объяснение имя «Оут»: отсутствие уменьшительной формы в именах вроде «Эрл» всегда служило небольшой помехой для входа в мир не переменных ласкательных имен, в корпорацию жизнерадостных Биллов, Джеков, Гербов и Тэдов, и потому «Оут» стало лучшим, что можно было придумать для человека, нареченного Отисом). Однако высшее руководство постановило, что Оут Филдс вполне обойдется без первого помощника, и повышение накрылось, о чем Эрлу Уилеру прямо либо намеками сообщили за трапезой либо на матче.

Неизвестно, смирился ли отец с крахом надежд, но Фрэнк знал, что до конца жизни он так и не понял, почему это произошло. Наверное, это событие, с которого начался закат Эрла Уилера, было первым в череде других, недоступных его пониманию. Вплоть до ухода на пенсию после войны (вскоре после отставки и смерти Оута Филдса) его перебрасывали с должности на должность, в результате чего он съехал с заместителя управляющего до простого торговца в Гаррисберге, Пенсильвания. Даже в те годы недоумение его только росло, и он не мог постичь, отчего слабеет здоровье, почему так быстро и тяжело стареет жена, не понимал равнодушия двух старших сыновей и уж совсем – безумного бунтарства, предательства и морального краха младшего.

Портовый грузчик! Кассир кафетерия! Неблагодарный, озлобленный слабак и сквернослов, который пьянствует бог весть с какими друзьями из Гринвич-виллидж! Паскудник, который только и может, что сводить мать с ума своим молчанием по шесть-восемь месяцев, а затем отправить письмо без обратного адреса, но с припиской: «На прошлой неделе женился, как-нибудь привезу показать»!

К счастью для Эрла Уилера, он не слышал беседы сына с таким же молодым лоботрясом по имени Сэм, аспирантом-философом, подрабатывавшим клерком на студенческой бирже. Встреча проходила в 1948 году в дешевом баре неподалеку от студенческого городка Колумбийского университета.

– Какие проблемы, Фрэнк? Я думал, ты уж давно в Европе.

– Облом. Эйприл залетела.

– Иди ты!

– Нет, послушай, Сэм, на ситуацию можно взглянуть по-разному. Давай посмотрим вот с какого боку: хорошо, мне нужна работа. Но разве это повод испоганить себе жизнь? Просто мне нужно столько бабок, чтобы с годик удержаться на плаву, но сохранить себя как личность. Поэтому я всеми силами избегаю работы, которая с полным правом считается «интересной». Я хочу, чтобы меня не трогали. Мне нужна какая-нибудь старая здоровенная корпорация, которая в столетней спячке заколачивает деньги, такая, где всякое дело поручают восьми сотрудникам, поскольку знают, что ни один из них палец о палец не ударит, чтобы его выполнить. Я хочу такую работу, где смогу сказать: вот вам на столько-то часов в день я и моя милая улыбка образованного мальчика в обмен на такую-то сумму долларов, а в остальном мы друг друга не трогаем. Усек картину?

– Пожалуй, да, – ответил философ. – Пошли в контору.

Нацепив очки, Сэм пролистал картотеку и составил перечень компаний, более-менее соответствующих выдвинутым требованиям: мощный производитель изделий из меди и бронзы, огромное предприятие коммунального хозяйства, гигантская фирма-изготовитель всевозможных бумажных мешков...

Когда к списку прибавилось устрашающее название «Счетные машины Нокс», Фрэнк подумал, что это какая-то ошибка:

– Погоди, не может быть...

Он вкратце поведал о ступенях отцовской карьеры, и в ответ философ весело хмыкнул.

– Ты увидишь, что с тех пор кое-что изменилось, – сказал он. – Не забывай, тогда была Депрессия, и твоего старика мотало по городам и весям, а ты будешь протирать штаны в головной конторе. Это именно то место, которое тебе нужно. Я знаю, тамошние парни оторвут задницу от стула лишь для того, чтобы принять чек с жалованьем. Думаю, на собеседовании стоит упомянуть про твоего папашу. Может быть полезным.

Когда Фрэнк вошел в тень Нокс-билдинг, в памяти его толпились призраки первого визита («Дайка руку, здесь плохой переход...»), но он решил, что будет забавнее не упоминать об отце. В тот же день он получил работу на пятнадцатом этаже в конторе под названием «Отдел стимулирования сбыта».

– Сбыта чего? – спросила Эйприл. – Как это – стимулирование? Я не понимаю. Что ты должен делать?

– Да кто его знает, мне полчаса объясняли, но я ни черта не понял. Думаю, они сами не понимают. Нет, все-таки смешно, правда? «Счетные машины Нокс»! Интересно, что скажет папаня? Особенно когда узнает, что о нем я смолчал.

Все началось как бы в шутку. Возможно, другие ничего забавного в том не видели, но Фрэнка переполняла тайная терпкая радость, когда, лениво исполняя свои обязанности, он расхаживал по отделу в той манере, которая вскоре стала если не родной, то привычной и которую жена считала «ужасно сексуальной»: медлительная кошачья походка, сочетающая в себе пружинистость и горделивое презрение к спешке и суете. Лучшая часть шутки ежедневно приходилась на пять часов пополудни. Выйдя из лифта в наглухо застегнутом пальто, Фрэнк одаривал коллег прощальными улыбками и кивками, после чего двумя автобусами добирался на Бетьюн-стрит, где по двум пролетам крутой скрипучей лестницы взлетал к двери, которую бессчетные слои грязновато-белой пузырчатой краски делали похожей на поганку, и входил в большую чистую комнату с легким запахом табака, воска, мандариновых шкурок и одеколона; там его ждала очаровательная встрепанная девушка, не похожая на жену служащего фирмы «Нокс» в той же степени, в какой квартира не походила на подобающее ему жилье. Аперитив они заменяли любовью на кровати или полу, иногда продолжавшейся до десяти вечера, а потом тихими улицами отправлялись куда-нибудь поужинать, и тогда казалось, что Нокс-билдинг находится за тысячу миль.

К концу первого года шутка приелась, а неспособность других разглядеть ее юмор стала угнетать. «О, так, значит, здесь работал ваш отец!» – говорили они, и взгляд их приобретал выражение, которое обычно приберегают для серьезных, послушных и неактивных юношей. Вскоре (по истечении второго года, когда отец с матерью умерли) Фрэнк оставил попытки что-либо объяснить и сосредоточился на другой забавной стороне службы – абсурдном несходстве идеалов, своих и компании, пропасти между тем, сколько сил он должен был отдавать делу и сколько реально отдавал. «Прелесть нашей конторы в том, что с

девяти утра и до конца рабочего дня можно держать мозги выключенными и никто этого не заметит».

Однако в последнее время, и особенно после переезда в провинцию, Фрэнк стал избегать разговоров о службе вообще и на вопрос, чем он зарабатывает на жизнь, отвечал: да так, в сущности, ничем, работа – тягомотина из тягомотин.

В утро понедельника после кончины «Лауреатов» он вошел в Нокс-билдинг, точно робот. Витрины блистали новой экспозицией: яркие и модно худые картонные девушки, улыбаясь, карандашиками показывали на фирменные плакаты, где перечислялись достоинства продукции – БЫСТРОТА, ТОЧНОСТЬ, КОНТРОЛЬ, – а чуть глубже на ковровой шири пола были щедро представлены ее образцы. Некоторые, попроще, весьма походили на те устройства, что двадцать лет назад воспламенили отцовский восторг, только их прежде угловатые линии округлились в угоду «скульптурным формам» новых футляров устричного цвета. Другие же имели все необходимое, чтобы управляться с деловыми задачами на столь бешеных скоростях, какие Эрлу Уилеру даже не снились. Электронные аппараты, готовые таинственно заурчать и замигать, с каждым рядом становились все импозантнее, а венчало их непостижимое детище фирмы – «Нокс-500», электронно-вычислительная машина с музейной табличкой на постаменте, извещавшей, что данное устройство «способно за тридцать минут выполнить расчеты, на которые у человека с арифмометром уйдет вся жизнь».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

Джон Китс (1795–1821) – выдающийся английский поэт-романтик. В эпиграфе строчка из шестой строфы его поэмы «Изабелла, или Горшок базилика» (1818) (перевод Галины Гампер).

Здесь и далее примечания переводчика.

2

Шоу, Джордж Бернارد (1856–1950) – английский драматург, лауреат Нобелевской премии (1925).

3

Ибсен, Генрик (1828–1906) – норвежский драматург, автор социально-реалистических драм.

4

О’Нил, Юджин (1888–1953) – драматург, реформатор американской сцены.

5

«Окаменевший лес» (1935) – пьеса американского драматурга Роберта Шервуда (1896–1955). Краткое содержание:

Писатель-идеалист Алан Сквайерс устал от жизни; без цента в кармане он бредет по шоссе в аризонской пустыне и знакомится с Габриэллой – дочерью

хозяина старой бензоколонки. Девушка мечтает учиться в Париже. На заправку подъезжают супруги Чисхолм, Габриэлла уговаривает их отвезти писателя в Калифорнию. Но уехать не удастся: безжалостный гангстер Дюк Манти и его сообщники, совершившие убийства в Оклахоме, берут всех в заложники. Алан Сквайерс называет гангстера «последним великим апостолом грубого индивидуализма» и просит, чтобы тот его застрелил.

В 1936 г. по пьесе был снят одноименный фильм; режиссер Арчи Майо, актеры Лесли Ховард, Бетт Дэвис, Хамфри Богарт, Джо Соьер.

6

Жан Поль Сартр (1905–1980) – писатель, философ и публицист, глава французского экзистенциализма; основные темы художественных произведений: одиночество, поиск абсолютной свободы, абсурдность бытия. В 1964 г. Сартру была присуждена Нобелевская премия по литературе, от которой он отказался.

7

Морнингсайд-Хайтс – жилой и академический район в северной части Манхэттена в Нью-Йорке.

8

Ивлин Во (1903–1966) – английский писатель, его романы отличают психологизм, гротеск, колоритные, эксцентричные характеры.

Оппенгеймер, Роберт (1904–1967) – выдающийся американский физик, получивший прозвище «отец атомной бомбы»; выступал за международный контроль над атомной энергией и против создания водородной бомбы. В 1953 г. попал под подозрение комиссии Маккарти и был обвинен в государственной измене и сотрудничестве с коммунистами.

Маккарти, Джозеф (1908–1957) – политический деятель, сенатор. В 1952 г. возглавил кампанию по изобличению «подрывных элементов», в результате которой многие известные деятели потеряли работу. «Эпоха маккартизма» осталась в истории США периодом торжества мракобесия и подозрительности, отката от демократических ценностей.

Мэдисон-авеню – проспект в Нью-Йорке, символ торговой рекламы и дорогих магазинов.

Макс Рейнхардт (наст. фамилия Гольдман, 1873–1943) – немецкий актер и режиссер, экспериментатор в области театральной формы, новых выразительных средств; в 1933 г. эмигрировал из Германии, умер в США.

«Квакер оутс» – товарный знак овсяных хлопьев.

Купить: <https://tellnovel.com/richard-yeyts/doroga-peremen>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)